

Игорь Клямкин

**БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНОЕ
ПРОШЛОЕ
И АЛЬТЕРНАТИВНОЕ
НАСТОЯЩЕЕ**

УДК 323/324(470+571):355.01

ББК 66.3(2Рос),1

К52

Клямкин, И.М.

К52 Безальтернативное прошлое и альтернативное настоящее / Игорь Клямкин. – Москва : Фонд «Либеральная Миссия», 2013. – 88 с.

ISBN 978-5-903135-37-0

Автор книги размышляет о циклическом чередовании в российской истории милитаризаций и демилитаризаций жизненного уклада общества и обосновывает мысль о затухании этой цикличности. Альтернатива ей видится ему в правовом государстве, до сих пор в России не состоявшемся, переход к которому требует, в свою очередь, конституционной реформы.

УДК 323/324(470+571):355.01

ББК 66.3(2Рос),1

ISBN 978-5-903135-37-0

© Фонд «Либеральная Миссия», 2013

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОТ АВТОРА _____	4
ОСОБЫЙ НЕ ПУТЬ, А ЦЕЛИ _____	6
ЛОВУШКА СИСТЕМНОГО «РЕАЛИЗМА» _____	11
СИСТЕМА НЕ ДОПУСТИТ ЧЕСТНЫХ ВЫБОРОВ _____	19
БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНОЕ ПРОШЛОЕ И АЛЬТЕРНАТИВНОЕ НАСТОЯЩЕЕ _____	24
ЗАТУХАЮЩАЯ ЦИКЛИЧНОСТЬ _____	38
ОТ «ГОСУДАРСТВА-АРМИИ» ДО «ГОСУДАРСТВА-РЫНКА» _____	58
ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ИСТОРИЯ НАРОДА НЕ ТОЖДЕСТВЕННЫ _____	78

ОТ АВТОРА

Казалось бы, трудно уловить содержательную связь между такими темами, как цикличность российской истории и современная идея конституционной реформы. Идея, которая исторической реальностью не только не стала, но и неизвестно, станет ли, а если станет, то в какой форме. Тем не менее именно эти две темы составили основное содержание моих интервью последних двух лет, собранных в книжке. С одной стороны, в ней рассказывается о циклическом чередовании в истории страны милитаризаций и демилитаризаций жизненного уклада населения, с другой – говорится о необходимости изменения Конституции. Потому что в моем сознании темы эти не только не взаимоисключающие друг друга, но и способные в перспективе стать взаимопротивяющимися.

Дело в том, что оригинальная историческая цикличность, о которой идет речь, себя, на мой взгляд, исчерпывает. Чередование разных вариантов неправовой государственности продлению уже не поддается, а тот вариант, который сложился в постсоветской России, стратегически самодостаточным стать не может. Поэтому вынесение в повестку дня вопроса о *правовой* альтернативе всем прошлым вариантам настолько же вне истории, насколько и ответ на идущий от нее запрос. Но такая альтернатива как раз и блокируется действующей Конституцией, узаконенным в ней распределением властных полномочий в пользу политической монополии президента.

С конца 2011 года российское экспертное сообщество начало эту проблему осознавать. Однако идея конституционной реформы все еще пребывает на периферии общественного внимания. Многими она воспринимается как второстепенная, а многими и просто отторгается как несвоевременная и даже как деструктивная. Доводы тех и других я и пытаюсь разбирать, отвечая на вопросы собеседников. Равно как и различные проектные соображения тех немногих, кто конституционную реформу считает необходимой.

И все это, повторю, имеет прямое отношение к отечественной истории, конституционно-правового порядка никогда не знавшей, и ее восприятию нашим историческим сознанием. Восприятию, в котором прошлое и сложившаяся в нем традиция персоналистской власти все еще довлеют над настоящим. Отсюда и сохраняющаяся предрасположенность этого сознания к поиску в прошлом нереализованных альтернатив, которые, в случае реализации, могли бы дать нам иное настоящее, чем есть. А такая предрасположенность, как я пытаюсь показать, со времен перестройки ведет к тому, что реальное неправовое былое, отторгаемое думами наших современников во имя былого иного и луч-

шего, не преодолевается, а воспроизводится в несколько обновленных формах. Оно воспроизводится, разумеется, не только поэтому. Но и поэтому тоже.

Альтернативность прошлого недоказуема. Поэтому ничего не остается, как признать его безальтернативность, задаваясь при этом лишь вопросом о том, почему оно оказалось именно таким, каким оказалось. И еще вопросом о том, может ли быть продуктивным воспроизведение свойственных ему способов развития. Думаю, что не может, и пытаюсь это обосновать. Думаю, что Россия переживает принципиально новый этап своей истории, требующий поиска варианта развития, альтернативного самой этой истории и ее затухающей самобытной цикличности. Поиска не в прошлом, а в настоящем, которое, пока само не стало прошлым, альтернативно всегда. Потому что в отличие от прошлого открыто для влияния самых разных идей и действий людей. Этим соображением обусловлено и само название книги, повторяющее заголовок одной из бесед.

Почти все они, как я уже говорил, относятся к самому последнему времени – с июля 2011 по февраль 2013 года. Кроме одной, которой книжка завершается. Это беседа 2005 года, состоявшаяся накануне выхода первого издания нашей совместной с А. Ахиезером и И. Яковенко книги «История России: конец или новое начало?». Я счел целесообразным воспроизвести то давнее интервью, так как в нем представлен общий взгляд на российское государственное прошлое и те особенности настоящего, которые делают попытки реанимации этого прошлого, всегда остававшегося неправовым, исторически тупиковым.

Осталось сказать, что при редактировании книги я не стал устранять встречающиеся в ней повторы – надеюсь, читателю они не помешают. И еще выразить глубокую благодарность моим интервьюерам, по инициативе которых состоялись все вошедшие в книгу беседы, а значит, и сама книга.

ОСОБЫЙ НЕ ПУТЬ, А ЦЕЛИ

– Недавно ваш фонд провел цикл семинаров, где обсуждался кризис российской культуры, политической в том числе. То есть кризис уже налицо?¹

– Мне кажется, сегодня Россия столкнулась с совершенно новой ситуацией в масштабах всей ее истории. Рушатся те механизмы, которые столетиями обеспечивали устойчивость «русской системы». Собственно, существуют три фактора, которые конструируют любое государство: сила, вера и закон – ничего иного еще не было придумано. В России на первом месте всегда была сила. Вера и закон лишь маскировали и поддерживали этот стержень российской государственности. До 1917 года сила легитимировалась религией, после – коммунистической идеологией. Закон во все времена стоял на охране этой силы, а не прав граждан. Идеологии менялись, как драпировки, а суть оставалась, и система могла воспроизводиться и даже обеспечивать технологическое развитие.

А сейчас выяснилось, что фактор произвольной силы себя изжил. В современных условиях он практически бесполезен, потому что технологический прорыв сегодня, используя диктат силы, обеспечить уже невозможно. Очевидно также, что никакая политическая воля, то есть сильная рука, не может победить коррупцию: даже у Петра I это не получилось. С усилением репрессий на коррупционном рынке вырастет цена услуг и часть слабых игроков уйдет со сцены, но сам рынок останется. Сегодня и власть понимает, что никакую модернизацию методами Петра и Сталина уже не сделаешь, а как ее сделать по-другому, сохраняя нынешнюю систему, власть не знает, альтернативных способов в этой системе не существует. Поэтому я считаю, что нынешний этап в жизни России беспрецедентен и очень напоминает исторический тупик.

– С другой стороны, еще наш знаменитый демократ Добролюбов говорил, что ссылки на переходность времени и какую-то его принципиальную сложность всегда выморолочные, потому что любое время – переходное. Нужно развиваться дальше, это ведь не первый раз, когда в России «сила» теряет свою стальную хватку.

– И всякий раз, когда она ее теряла, страна оказывалась в тупике. Ведь что означало верховенство силы? Оно означало, что построение не только военной, но и мирной жизни людей происходило по армейским канонам, в приказном порядке. Перехода от верховенства приказа к верховенству закона в России так и не случилось, хотя попытки предпринимались неоднократно. Они

1 Вопросы задавала *Ольга Филина*. Опубликовано в июле 2011 года в журнале «Огонек» (№ 27).

предпринимались, потому что подобная милитаризация повседневной жизни требовала от элиты и населения таких усилий, на которые длительное время люди не способны, и периодически действительно хватка слабела. Начиналась демилитаризация, конец которой всегда одинаков – системный кризис.

После Петра I власть попыталась демонтировать военно-служилую государственную вертикаль, освободив дворян от обязательной службы. Казаки и крестьяне, как вы помните, отреагировали пугачевским бунтом и усилившейся враждебностью ко всем властным группам и институтам, что отразилось и в русских пословицах и поговорках. Потому что был нарушен принцип легитимации силы: крестьяне служат дворянам, поскольку те служат царю.

Эта глубоко укоренившаяся вражда к государству и правящим группам провалилась наружу после Февральской революции 1917 года: солдаты просто стали вырезать дворян-офицеров, так как считали их «чужими», под стать монголо-татарам. Такие настроения и позволили прийти к власти большевикам: сила «рабочих и крестьян» готова была подавлять прежнюю силу «помещиков и капиталистов». На этот ментальный конструкт большевики и оперлись. Конечно, они обманули крестьян, загнав их вскоре в колхозы, но характерно, что те, кто обман и принуждение помогали осуществлять, в массе своей тоже были выходцами из крестьян. То есть низовая культура полностью разделяла логику силы.

Это и позволило Сталину начать второй после Петра виток милитаризации ради технологической модернизации, снова выстроив управление страной по модели управления армией. А после Сталина страна вступила в очередную фазу демилитаризации. Фазу, в которой пребывает и сегодня. Однако от предыдущей она отличается. Отличается уже тем, что в ней перекрыта возможность и большевистского варианта исторической трансформации. Потому что модель милитаристского мобилизационного государства изжита и упомянутой мной низовой культурой.

– И что же теперь ей близко? Демократия? Вера и закон? Или, выражаясь словами теперь уже Чернышевского, прогрессивные умы разбиваются о «тупую нескладницу в народных мыслях»?

– Данные Левада-Центра стабильно показывают, что понимание политического смысла демократическо-правового государства есть только у 13–15 процентов россиян. Но эти данные, однако, не говорят о том, что люди отвергнут такое государство, будь оно им предложено. Общество в целом не так плохо, как его часто изображают. Отторжения демократии в нем нет, хотя 100 лет назад, очевидно, было.

Вместе с тем наивно полагать, что масса населения сама родит запрос на качественно новое жизнеустройство. Требовать демократии люди в массе своей не будут просто потому, что плохо представляют себе ее смысл и возможную от нее для себя пользу. Кроме того, наше население – жертва советского типа

урбанизации, когда государство старательно уничтожало все самоорганизующиеся городские объединения, вплоть до кружков краеведов, оставляя человека один на один со своей громадой. Поэтому россияне испытывают большие трудности с выработкой общего интереса и консолидированных позиций. Но все-таки заявлять, что народ «до демократии не созрел», – это откровенный обман, на который властвующие группы идут, чтобы удержать свою монополию.

Вам же приходилось, наверное, слышать разговоры о том, что нужно подождать, что для созревания гражданского общества должно пройти время. Но это правильно только в том случае, если вы действуете в направлении, которое это время приближает. А у нас все наоборот: время используется для примитивизации общества, поскольку власть его элементарно боится.

– По-вашему, именно элита выступает в роли той головы, с которой гниет рыба?

– Я считаю, что российский правящий слой катастрофически отстал и от времени, и от потребностей общества, и даже от населения. Поэтому и главная ответственность за тупиковую ситуацию, в которой оказалась Россия, лежит на нем. В начале 90-х годов люди поверили в свободу и демократию – притом что в их представлениях было мало конкретики. Теперь мы знаем, что из этого получилось. Романтический подъем не воплотился в то, во что он воплотился в Восточной Европе. И именно потому, что там были другие элиты, которые смогли соединить романтику с созданием европейских демократических институтов. Политики там сразу договорились: если вы выигрываете выборы – мы уходим, если мы выигрываем – вы уходите. А у нас договариваться не хотели, каждая группа претендовала на борьбу до победного конца и установление своей монополии. И после того, как одна из них в 1993 году победила, снова используя силу, монополия в очередной раз стала фактом.

Сегодня очевидно, что такая система лишена модернизаторского потенциала. Показателен наш правящий тандем, в котором один зовет «Россия, вперед!», а другой создает «Народный фронт», то есть оба апеллируют по инерции к старой милитаристской традиции. Но она уже изжита. Сегодня государству, чтобы обеспечить развитие страны, именуемое модернизацией, нужно не просто измениться, а стать таким, каким оно никогда еще не было.

– Если у нас такая беспрецедентная ситуация, то и способ ее преодоления должен быть оригинальным. Однако, кажется, вы в «особый путь» не верите?

– Говоря об «особом пути», у нас всегда имеют в виду особые цели, предполагающие сохранение авторитарной власти. Особенности той или иной страны, конечно, важны, и их нельзя не учитывать и в процессе адаптации демократическо-правовых институтов, если такая цель провозглашается. Но

адаптация – творческий процесс, у некоторых стран Восточной Европы он шел трудно и длился годами. И здесь важно, чтобы не менялась сама суть того или иного института. Чтобы на «особом пути» к цели не видоизменялась и не выходила в имитацию первоначально заявленная цель. А что мы имеем в России?

Взять, к примеру, нашу Конституцию. Вместо того чтобы ориентироваться на работающие образцы в других государствах, ее авторы решили, что Конституция должна наделить президента всей полнотой власти, поставив его над всеми государственными институтами. Но этот «особый» проект задрапировали сходством с Основным Законом Франции, суть последнего отдельными коррекциями искажив до неузнаваемости. Это было не решением творческой задачи, не движением к новой цели, а переименованием старого, его переоблачением в «европейские» одежды. И подобное произошло не только с Конституцией.

Например, недавно у нас были приняты три закона о доступе граждан к государственной информации – вроде бы в соответствии с Европейской конвенцией. Однако экспертиза, осуществленная Ольгой и Михаилом Афанасьевыми, показала, что в законах этих есть такие пункты, которые не столько открывают, сколько блокируют всякий доступ к информации. Так «особая» цель, то есть сохранение властной монополии, преподносится как соответствующая международным правовым стандартам. Но к выходу из тупиковой ситуации этот «оригинальный способ», увы, не ведет.

– Вряд ли стоит ожидать, что люди, учредившие монополию, добровольно от нее откажутся. Но стоит ли надеяться, что, к примеру, наша либеральная оппозиция, добившись власти, решит ее поделить? Система ведь может оказаться сильнее людей.

– В России сегодня отсутствует оппозиция, реально противостоящая принципу политической монополии. У этой оппозиции, включая и ее либеральный сегмент, нет проекта, альтернативного сложившейся в стране системе. Она по большей части мыслит в тех же категориях, что и власть, предлагая заменить одних людей другими и обещая, что после этого все наладится. Разве не показательно, что ни одна политическая сила не выдвигает задачу изменения авторитарной Конституции?

По сути, у нас есть два типа либералов. Одни пристраиваются к действующему режиму, объясняя это тем, что лучше делать хоть что-то уже сегодня, чем не делать ничего. Эти люди уверяют, что ведут диалог с властью, хотя в условиях авторитарного правления подобный диалог становится чем-то вроде посещения русскими князьями Золотой Орды. Их точка зрения могла быть там интересна только в том случае, если подсказывала, как улучшить сбор дани для ханов.

Другой тип либералов – обличители. Они запальчиво и порой талантливо ругают нашу государственную систему. Непонятно одно – во имя чего? Пред-

лагаемая альтернатива еще ни разу не шла дальше общих деклараций. Как конкретно должна быть устроена политическая система? Какими конкретно должны быть суд и организация государственного аппарата? Как конкретно обеспечить противодействие коррупции? Ответов нет. А без этого любые обличения повисают в воздухе. Поэтому я и говорю, что страна лишена какого бы то ни было альтернативного проекта развития. Мы застряли.

– Возможно, пока у оппозиции другая задача – заявить о себе, стать заметной для населения?

– А с чем она, собственно, к этому населению идет? Не спорю, что разговор об институтах перевести на уровень массового сознания непросто, но без этого все вообще бесполезно. Любую критику власть спокойно переживет, она всегда может парировать тем, что предложить критикам нечего. Я это все не к тому, что при ином поведении либералы могут прийти к власти. В настоящий момент они не имеют никаких политических перспектив. В конце 80-х казалось, что только у них и есть перспективы, но сейчас ситуация в корне другая. Это историческое время – не их, это чужое для них время. А чужое время может быть только медленным, его нужно использовать для стратегического продумывания своих проектов. Пытаться сделать это время быстрым – значит быть неадекватным исторической ситуации. Текущей политической активности это, разумеется, не исключает, но надо отдавать себе отчет и в ее возможностях. И еще в том, что у такой деятельности должно быть и стратегическое измерение.

Но тут все упирается в одну из давних особенностей российской культуры – институциональную беззаботность. Это характерно не только для либералов. В начале прошлого века известный монархист Лев Тихомиров пытался осмыслить кризис российского царизма. И пришел к выводу, что России удалось создать нужную ей власть, но она никогда не задавалась вопросом о том, как эту власть устроить, чтобы та была эффективной. Институциональный уровень мышления в культуре отсутствовал.

Это дало о себе знать и на рубеже 80–90-х годов, дает знать о себе и сегодня. Например, когда мы в нашем фонде собираем публичные круглые столы, чтобы обсудить какую-то конкретную институциональную проблему, к нам приходит чуть ли не на порядок меньше людей, чем на семинары, посвященные текущей политической конъюнктуре либо абстрактным темам вроде «русской культурной матрицы». Это, конечно, все очень увлекательно, но когда-нибудь придется заняться делом. Придется создавать правовые институты – сначала хотя бы на бумаге.

ЛОВУШКА СИСТЕМНОГО «РЕАЛИЗМА»

– И от политиков, и от аналитиков все чаще слышишь: «Мы в тупике...» Вы тоже так считаете?¹

– «Старая» история России закончилась, для меня это очевидно. Продлевать ее можно только искусственно, что мы сегодня и наблюдаем. Традиционное для нашей страны государство-монополия, стоящее над законом и обществом, не в состоянии ответить на новые вызовы. Раньше худо-бедно могло, а теперь не может и не сможет.

Выход из этого состояния возможен только в государство правовое. Однако наша властная монополия защищена действующей Конституцией, возвышающей президента над другими ветвями власти. И если ни одна политическая партия не предлагает, идя на выборы, эту правовую оболочку монополии устранить, то, следовательно, все наши политические силы готовы с монополией мириться. И тем самым вольно или невольно ее поддерживать.

– Если государство-монополия – традиционная для России форма организации управления этой огромной территорией, то когда исторически оно сложилось? Многие ищут его корни во времена монгольской колонизации. Они там?

– Его зародыши на территории будущей Московии появились еще в XII веке, во времена княжения Андрея Боголюбского. Потом под влиянием «монгольского самодержавия» (когда «главным» был хан, монгольский царь) начал складываться особый тип государства-монополии – государство милитаристское. Это когда не только военная, но и мирная жизнь выстраивается по военному образцу, когда управление государством уподобляется управлению армией. На это в свое время обратили внимание еще старые русские историки, например Ключевский.

Милитаризация повседневности стала самобытным российским способом вхождения в Новое время без освоения его ценностей. Такое вхождение, кстати, удалось не всем: Монгольская и Византийская империи на пороге Нового времени рухнули. Окончательную форму Московское государство приобрело при Иване Грозном, создавшем русский аналог монгольского правления, и его инерция сказывается по сей день.

– Но и в Западной Европе были абсолютные монархии. Почему же

1 Вопросы задавала *Мария Зверева*. Опубликовано в «Ежедневном журнале» 27 октября 2011 года.

в России государство-монополия оказалось столь живучим?

– В Европе абсолютизму предшествовал феодализм. Он предполагал правовые отношения, когда у вассала есть не только обязанности по отношению к сюзерену, но и права, и споры между ними можно было разрешать в судебном порядке. В России ничего такого не было. Не утвердился в ней и европейский тип самоуправляющихся торгово-ремесленных городов.

– То есть в Европе и в Средние века были зачатки правового государства, которое предполагает верховенство прав и правил над личными отношениями и субординацией? Когда не «ты начальник – я дурак», а «начальник» над всеми начальниками – закон?

– Да, и абсолютизм эти зачатки там не вытравил, такую свободу по отношению к закону и обществу, как русские самодержцы, европейские монархи позволить себе не могли, а потому и отношение к государству там формировалось иное, чем в России. Если посмотреть, скажем, русские народные пословицы и поговорки, то мы обнаружим в них сакрализацию царя при враждебном восприятии всех институтов и сословий, которые стоят между ним и населением. И бояр, и дворян, и священников, и чиновников, и судей, и даже армии. «Не от царя угнетение, а от любимцев царских» – это о боярах. «Хвали рожь в стогу, а барина в гробу» – это о дворянах. «Стоит ад попами, дьяками и неправедными судьями» – это о церкви, бюрократии и суде. «Солдат как волк: где попало, там и рвет» – это об армии. В Европе, разумеется, государство тоже не боготворили, но столь негативного его восприятия там не наблюдалось. Такое восприятие, кстати, и открыло в России дорогу к власти большевикам, соблазнившим поначалу население не только своей враждебностью к прежнему государству, но и обещаниями насчет «отмирания» государства как такового.

– А что у нас сейчас? Заоблачный рейтинг отца нации, президента – и низкая степень доверия к правительству, Думе, армии, полиции, судам. Царь хороший – бояре плохие.

– Только «царь» уже не сакральный. Это инерция уходящей политической культуры. На эту инерцию и пытается опираться нынешняя власть, вытаптывая ростки культуры альтернативной. В том числе и путем ее интеграции в чужую для нее систему посредством всех этих «народных правительств», «агентств стратегических инициатив» и прочих симулякров.

– А были ли в Европе Нового времени примеры государств того же милитаристского типа, как российское?

– Что-то похожее наблюдалось в Османской империи, опыт которой в послемонгольской Московии, кстати, очень тщательно изучался. Но эта империя со временем стала слабеть, а потом распалась. Там не появился свой Петр I, да и не мог появиться. В России все, что касается веры, было слабо укоренено,

церковь была ослаблена расколом, и поэтому очень уж серьезного идеологического сопротивления принудительной вестернизации, осуществлявшейся Петром, здесь не наблюдалось. А в Османской империи был ислам, и его сопротивление вестернизации преодолеть было невозможно. К милитаристским государствам обычно причисляют и Пруссию, но там тоже все обошлось без своего Петра. Прусская модель несколько иная, чем российская, с иной ролью закона и иным, не принудительно рекрутским способом формирования армии, а потому иной оказалась и ее историческая судьба.

– Петр во всем виноват? Не провел бы модернизацию традиционного государства, оно бы умерло, и это дало бы шанс на что-то другое?

– Без Петра история страны пошла бы иначе, но как именно, мы знать не можем. Однако Петр в России был, и он осуществлял свои преобразования, доведя милитаризацию государства и общества до предела. Он создавал государство для войны и только для войны. Но человеческая природа такого состояния долго выдержать не может, и потому после его смерти началась демилитаризация, проявившаяся в послаблениях дворянству, которые завершились его освобождением от обязательной государственной службы. И потом эта демилитаризация продолжалась до 1917 года с частичными откатами при Павле I и Николае I. Дело дошло до освобождения крестьян от крепостной зависимости и создания представительного учреждения в виде Госдумы, то есть ограничения самодержавия. И вот тут-то все и рухнуло, сменившись вторым витком милитаризации – в сталинские времена. Тогда, как вы, наверное, помните, у нас все было «борьбой», «фронтом» и «штурмом». Тогда монополично правившая партия официально именовала себя «боевой организацией», а своих членов – «солдатами».

А после Сталина началась следующая волна демилитаризации, и опять система не выдержала. Произошло событие, 20-летие которого мы в этом году отмечаем и значение которого до сих пор недооценено. В мирное время, практически бескровно, распалась военная сверхдержава, наспигованная ядерными боеголовками и имевшая самую большую в мире армию!

– Горбачев, пытаясь приспособить старую систему к новым вызовам, «перестроить» ее, на самом деле привел к ее демонтажу?

– Демилитаризация, то есть переход от принципа силы к принципу права, от приказа к закону, рано или поздно ведет к демонтажу монопольного государства. Но в России люди привыкли осознавать общий государственный интерес только как интерес военный, который возникает, когда есть враг и угроза большой войны. Что такое общий интерес в мирной жизни, здесь понимают плохо, и, как только начинается демилитаризация, общество рассыпается на отдельные части, атомизируется. Как выйти из демилитаризованного состояния в правовое государство – этот вопрос остается главным и сегодня.

– Ельцинская элита хотя и абстрактно, но задачу модернизации-демократизации ставила, с этим к власти шла. Почему же не получилось?

– Советское государство исчезло, и у Ельцина теоретически был выбор: или созыв Учредительного собрания, или новые выборы с последующим принятием новой Конституции. Это политическая азбука, с которой рекомендуется считаться при образовании новых государств. Но Ельцин не захотел тогда конфликтовать со Съездом народных депутатов и тем самым заложил основы кризиса, начав экономические реформы со старыми институтами. Ведь что такое был этот Съезд? Это был не парламент, а институт, наделенный прежней Конституцией всей полнотой власти, он имел право принять к рассмотрению любой вопрос и решить его...

– Но была ли у Ельцина в 1991 году реальная власть для того, чтобы радикально реформировать государство?

– Это вопрос для историков, никакого актуального значения сегодня это не имеет. Для нас важно, что при сохранении старого института конфликт с ним Ельцина и наших реформаторов был неизбежен. И что никакая демократия при этом была невозможна – могло быть лишь использование демократических процедур каждой из сторон, для того чтобы утвердить свою монополию на власть. Распустив в 1993 году Съезд, Ельцин сделал это своей Конституцией. В Конституции РСФСР было написано: «Съезд народных депутатов определяет основные направления международной и внутренней политики», а теперь написали, что «президент определяет основные направления внешней и внутренней политики»... Вот с этой закрепленной Конституцией президентской монополией, своего рода выборным самодержавием, мы до сих пор и живем.

– То есть построение путинской вертикали было предопределено?

– Конституция этому не мешала. Не случайно же на похоронах первого президента России Путин похвалил его только за Конституцию: именно она позволила сделать то, что он сделал. Государство 90-х было начальной стадией нынешнего – как ленинский НЭП был начальной стадией советского государства. Юридическая властная монополия у Ельцина после 1993 года была, но не достроенная до конца, а его личный политический ресурс к тому времени был уже исчерпан. Это было слабое государство, которое не могло позволить себе покушаться на свободу прессы, регионов, олигархов, на более-менее свободные выборы в Думу...

– А потом президентом стал Путин...

– И достроил эту систему до конца: подчинил себе законодательную власть, прессу (прежде всего телевидение), регионы – после Беслана. Из слабого неправового государства получилось более сильное неправовое государство,

которое живет за счет растущих цен на нефть и газ. Традиционной российской монополии придали новую форму тотальной имитации. Все имитируется: законность, независимость судебной системы, свобода СМИ, демократия – все вроде бы есть, но ничего нет. Но такие имитации и есть наглядный признак того, что система монополии себя изжила. Эти имитации и создают, кстати, то ощущение исторического тупика, о котором вы упоминали.

– Но и президент, и премьер много и часто говорят о том, что институты работают плохо, обещают модернизацию, реформы, борьбу с коррупцией...

– Необходимость модернизации в той или иной степени осознана обоими членами тандема. Но они хотят найти ресурс для движения вперед внутри самой системы. И после выборов, поменявшись, согласно плану, местами, они будут пытаться делать именно это. Однако никакой такой модернизации скорее всего не получится. Сейчас не времена Петра I и Сталина. Все, проехали, третьей милитаризации не будет, при современном типе технологий и нынешнем состоянии российского общества модернизация с ее помощью неосуществима, но и без милитаризации при сохранении монополии толку не будет. Нельзя проводить модернизацию посредством того, что само нуждается в модернизации. Никаких внутренних ресурсов у монополии нет, но и внешние импульсы вроде угрозы большой войны давно исчезли.

Да, власть все еще пытается опереться на инерцию прежнего типа сознания. Отсюда и имитационная (да, тоже имитационная!) «милитаристская» риторика вроде «Россия, вперед!», и политические термины вроде «Народного фронта». Отсюда все эти поиски «пяток колонн», «антироссийских заговоров», полеты Путина на военных самолетах, камуфляж Медведева, бесконечные апелляции к памяти о победе над гитлеровской Германией. Но никаких модернизационных импульсов из этих имитаций извлечь уже нельзя.

– Но если в России другого государства, кроме монопольного, никогда не было, а демилитаризация всегда заканчивалась катаклизмами, почему сейчас будет по-другому? Целостность страны воспринимается населением как высшая ценность, никто не хочет повторения 1991 года. Тем более что теперь раскол пойдет совсем по живому...

– Во-первых, демилитаризация уже произошла, и вопрос в том, как из нее выйти в правовое государство. Во-вторых, то, что мы имеем сейчас, не альтернатива распаду, а его отсрочка посредством выплаты дани таким людям, как Кадыров. И если распад еще и можно упредить, в чем многие уже сомневаются, то тщательно продуманной реформой политической системы. А для этого нужна широкая дискуссия, вводящая вопрос о такой реформе в политическую повестку дня. Пока же он пребывает на крайней периферии общественного сознания. Политики, включая самых либеральных, старательно обходят его

стороной, не актуализирован он и в сколько-нибудь широкой интеллектуально-экспертной среде. Отдельные высказывания звучат давно, еще с конца 1990-х, есть и отдельные конкретные предложения, но основой альтернативной политической повестки дня они не становятся.

– В своем докладе на съезде «Яблока» Григорий Явлинский говорил о Конституционном собрании, но вскользь: мол, это станет в повестку дня лет через 10–15, когда назреет политический кризис...

– Если он так сказал, то это выглядит странно. Тем самым он признает, что в нашей политической системе есть ресурсы самореформирования, на 10–15 лет вполне достаточные. Непонятно только, почему эти ресурсы до сих пор не использовались и почему, если таковые наличествуют, они не помогут избежать кризиса. Непонятно и то, зачем партия, декларирующая свою оппозиционность, стремится занять в этой системе место. Чтобы содействовать ускорению кризиса? Или чтобы способствовать продлению жизненного срока нежизнеспособной системы? Разговоры о том, что будет через столько-то лет – это вполне в духе и стиле пока еще президента Медведева. Это когда стратегическая цель отрывается от сегодняшних задач и из цели превращается в ни к чему не обязывающий прогноз.

– Сейчас нередко приходится слышать, что дело все же не в Конституции и вообще не в законах, а в их неисполнении, то есть в правоприменении.

– Правоприменение тоже определяется монопольной правовой конструкцией. Когда все замкнуто на одну фигуру, она вынуждена опираться на силовые и бюрократические группы и позволять им воровать и бесчинствовать в обмен на лояльность. Неслучайно коррупция значительно выросла именно при Путине, поразив всю систему, и продолжает расти. Кстати, и возможные нарушения Конституции тоже заложены в ней самой, в предоставляемых ею президенту монопольных полномочиях. Без них невозможно было бы вмонтировать в «вертикаль власти» такой институт, как Конституционный Суд.

– Может, об изменении Конституции не говорят, потому что эта цель кажется нереальной?

– Думаю, тут своего рода ловушка системного «реализма». Все, что касается изменений внутри системы, кажется более реалистичным, чем ее трансформация. Но вспомните наш джентльменский оппозиционный набор: честные конкурентные выборы, независимый суд, свободное телевидение, выборы губернаторов, искоренение коррупции... Это что, более реально? К тому же если сохраняется конституционная монополия на власть, то самые честные выборы будут всего лишь борьбой за эту монополию, а смысл заявлений оппозиции будет сводиться к тому, что ее представители, придя к власти, используют доставшуюся им монополию лучше, чем это делается сейчас.

Иллюзии все это и самообман, причем во всех отношениях. Допустим, в результате честных парламентских выборов «Единая Россия» проиграет, лишившись в Думе большинства. И что мы будем иметь? Повторение 90-х годов: президент с самодержавными полномочиями и безответственная Дума, которая, не имея доступа к исполнительной власти, борется с «антинародным режимом». То есть то же самое, из чего и вырос потом путинский режим.

– Но наша Конституция фактически списана с французской, там у президента тоже очень большие полномочия, и ничего!

– У французов в конституции не записано, что президент определяет основные направления политики. Да, он назначает премьера, но парламент утверждает программу правительства на первом же заседании после выборов. И если вы предлагаете премьера не из той партии, которая имеет большинство в парламенте, или кандидатуру, не прошедшую согласование с оппозицией, то его программу просто не утвердят. А права распускать парламент после трех таких отказов у французского президента в отличие от российского нет.

У нас не французская модель, а самодержавная русская, переодетая во французскую. Кстати, при де Голле и некоторое время после него президент и премьер представляли одну партию. А потом Франция столкнулась с ситуацией, когда парламентские выборы выиграла партия, президенту оппозиционная. И после этого возникла практика, когда президент назначает премьером представителя партии парламентского большинства. Политики договорились об этом, чтобы избежать политических и конституционных кризисов.

– А почему у нас так нельзя? Наша Конституция не запрещает правительство парламентского большинства. И разве тандем не доказывает гибкость ее конструкции? Есть президент, который вроде бы определяет основные направления политики, и есть премьер-министр, про которого все знают, что основные направления определяет именно он...

– Кто с кем будет у нас договариваться? Для начала оппозиция должна победить на парламентских выборах, чего политическая монополия пока успешно не допускает. И подозреваю, что, кто бы ни стал собственником монополии, не допустит. Правительство парламентского большинства у нас тоже может только имитироваться, что, возможно, нам и предстоит наблюдать после выборов.

Что касается тандема, то сама возможность его появления свидетельствует о том, что речь идет о монопольной власти не лица, а определенной группы, определенного клана (условно «питерских»). Она не стала по примеру коллег из Казахстана и Средней Азии менять конституционные правила и выдвинула из своей среды технического президента. Внутри такого тандема могут быть разногласия, но они не могут относиться к тому, что касается сохранения властной монополии. И Медведев ее сохранил, добровольно передав тому, кто имеет на ее изобретение больше авторских прав. Те, кто ждал от него чего-

то другого, ошиблись не в нем. Они ошиблись в понимании природы нынешней российской политической системы и роли в ней отдельных личностей.

– Итак, элита не хочет или не может выработать альтернативу и предложить ее обществу, общество пребывает в глубоком пессимизме, власти готовы биться за сохранение нежизнеспособной системы до конца...

– Вывести страну из этой ситуации и в самом деле может только глубокий системный кризис. Избежать его не удастся. Кто и как будет Россию из него выводить, сегодня не ясно. Но он будет тем глубже и катастрофичнее по своим последствиям, чем дольше будет сохраняться система властной монополии, охраняемая российской Конституцией. И если не привлечь внимание общества к этому коренному вопросу, оно, как и прежде, будет ориентироваться на очередную смену монополиста, а не на преодоление самой монополии. То есть еще раз наступит на те же грабли.

СИСТЕМА НЕ ДОПУСТИТ ЧЕСТНЫХ ВЫБОРОВ

– **Вы были одним из тех, кто осмысливал перестройку, теперь возникла новая тема – движение «За честные выборы». Видите общее?»¹**

– В конце коммунистической эпохи у нас была очень широкая оппозиция, объединенная общими идеями и противником. То же было в других странах советского блока. Но в этих странах утвердилось правовое государство и демократические институты, а в России в обновленной форме воспроизвелось самодержавие. И противодействовать ему сегодня в чем-то труднее, чем во времена борьбы за отмену шестой статьи советской Конституции.

После падения коммунистических режимов бывшая оппозиция везде раскололась. Но в Восточной Европе это произошло после достижения общих целей, чего в России не случилось. И теперь нашей оппозиции предстоит консолидироваться, как будто этих 20 лет раздоров и не было. А это непросто. В том числе и потому, что люди, выходящие сегодня на площади, успели разочароваться в политике и политиках. Они выступают за честные выборы, подчеркивая свою аполитичность. Политики, отвечая на их запрос, консолидируются вокруг этого лозунга. Но возможны ли честные выборы в нынешней самодержавной системе? Системе, узаконенной действующей Конституцией?

Однако о необходимости ее изменения в резолюциях митингов пока ничего не говорится. Потому что согласия на сей счет у российской оппозиции нет.

– **Часто наши митингующие подчеркивают свое сходство с участниками акций «Захвати Уолл-стрит», где тоже нет лидеров. Может быть, пришло время прямого гражданского участия в политике?**

– «Оккупанты» действуют внутри сложившейся демократической системы. На ее изменение они не претендуют, а хотят на нее влиять, заставить ее учитывать их интересы и их недовольство. От наших митинговых ораторов порой тоже приходится слышать, что они хотят не бороться за власть, а лишь влиять на нее. Но влиять на власть в сегодняшней России можно только в той мере, в какой это согласуется с сохранением самодержавной системы. Что властью и демонстрируется.

1 Вопросы задавала *Ольга Филина*. В сокращенном виде под заголовком «Наши партии никогда ни за что не отвечали» опубликовано в феврале 2012 года в журнале «Огонек» (№ 5). Полный текст размещен на сайте фонда «Либеральная Миссия» 6 февраля 2012 года.

– Люди, утверждающие свою аполитичность, опасаются не только погрязших в идеологических междуусобицах лидеров, но и очередных революций. Не хотят они и взрывоопасных конфликтов между ветвями власти, которые имели место в 90-е годы. Изменение Конституции, о котором вы говорите, означает, как я понимаю, ограничение президентских полномочий в пользу парламента. Не приведет ли это к тому, что мы уже проходили?

– Во-первых, мысль об изменении Конституции уже овладевает умами, и в этом отношении политики начинают отставать от мыслящей части общества. А во-вторых, институционализированный конфликт – это как раз то, чего нам не хватает и чего в России никогда не было. Поэтому, кстати, в ней не могла развиться и культура политического компромисса.

Вы скажете, что в 1991–1993 годах был конфликт между Съездом народных депутатов и Ельциным, завершившийся не компромиссом, а стрельбой из пушек в центре Москвы. Но тот конфликт имел место, потому что одна из его сторон – я имею в виду Съезд – обладала конституционной монополией на власть и не хотела ею поступаться. А Конституция 1993 года передала монополию президенту, сделав парламент фактически безвластным. Результатом стали бесконечные конфликты между ними, на политический и экономический курс почти не влиявшие, которые потом, уже при Путине, были подавлены посредством полного подчинения парламента президенту. Плоды такой бесконфликтности, такого «монолитного единства» мы сегодня и пожинаем.

Институциональный конфликт продуктивен. Но – только тогда, когда ни один из институтов не обладает монополией на власть, когда полномочия институтов строго фиксированы и ограничены. В нашем случае часть президентских полномочий должна быть передана парламента. И прежде всего право формировать правительство. Без этого думские выборы, даже при самом честном голосовании, будут лишены политического смысла.

– Жириновский тоже говорит: «Долой самодержавие, даешь парламентскую республику!» И что, всем теперь выстраиваться за ним?

– Не очень понимаю, что значит «тоже». А кто еще из политиков об этом говорит? Жириновский уловил изменение настроений в обществе и пытается появившийся в нем запрос на конституционную реформу оседлать. Идея парламентской республики становится все более популярной. Жириновскому приватизация этой идеи голосов вряд ли прибавит – ее приверженцы находятся далеко от его электорального поля. Но я хочу сказать и о том, что и сама она кажется мне сомнительной.

Конечно, парламентская форма правления надежнее, чем любая другая, застрахована от авторитарного перерождения. Но сначала она должна утвердиться, что не везде и не всегда возможно. Она требует согласия в обществе относительно базовых ценностей и общего вектора развития страны. В России

этого сегодня нет. Она требует наличия сильных и влиятельных партий, способных брать на себя государственную ответственность. В России этого нет тоже: наши партии никогда ни за что не отвечали и соответствующий опыт приобрести не могли.

Напомним, что в начале 1960-х годов после падения авторитарного режима парламентская республика возникла в Южной Корее, но просуществовала всего полгода, приведя к военному перевороту и диктатуре. Можно вспомнить и Францию. Там парламентское правление до де Голля работало плохо, развитие не обеспечивало и сменилось конституционной «выборной монархией», которая впоследствии эволюционировала в нынешнюю премьерско-президентскую форму правления. Что-то похожее нужно и нам. Причем, учитывая неукорененность в России правовой культуры, на президента должна быть возложена функция гаранта конституционного строя и правового порядка.

Как бы то ни было, сторонникам парламентской республики предстоит ответить на некоторые важные вопросы. Если президент станет символической безвластной фигурой, избираемой не населением, а парламентом, то как избежать кризисов в случае неспособности парламента сформировать правительство? Или в случае неспособности избрать президента? И как застраховаться от превращения в пожизненного самодержца премьер-министра? Ведь право партии, которую он представляет, побеждать на выборах нельзя ограничить двумя сроками – будь то «подряд» либо «не подряд»...

– Но есть все же люди, причем имеющие репутацию стойких либералов, которые выступают против изменения Конституции. Говорят, например, что дело вообще не в ней – бумажка, мол, не больше того, – а в ее соблюдении. Ссылаются и на сталинскую Конституцию: какая была замечательная, а к жизни никакого отношения не имела...

– Когда я это слышу, начинаю склоняться к мысли, что у некоторых наших либералов и европейцев правовое сознание развито еще меньше, чем у товарища Сталина и других авторитарных вождей. Сталин, вопреки их мнению, не нарушал свою Конституцию. Потому что в ней все декларации прав и свобод сопровождались оговорками насчет того, что права и свободы эти допускаются лишь при условии их использования «ради укрепления социалистического строя». Да и последующие руководители были отнюдь не беззаботными в отношении того, что записано в Основном Законе. Почему российский Съезд народных депутатов постоянно менял Конституцию? Почему Ельцин изменил ее именно так, а не иначе? Почему Путин на похоронах Ельцина хвалил того только за Конституцию?

Для властей, в отличие от иных либералов и демократов, Конституция – отнюдь не бумажка. Наша нынешняя Конституция – правовая основа неправового государства. Нигде в развитом мире такого Основного Закона нет. Это Кон-

ституция особого пути к неведомой особой цели. Только архаичное доправовое сознание может сей факт игнорировать.

– **«Архаики» ссылаются еще и на то, что Ельцин не злоупотреблял своими «царскими» полномочиями, как Путин. Главное, мол, не в Конституции, а в человеке.**

– Доправовое сознание всегда персоналистское, а не институциональное. Дело не в том, используются полномочия или нет. Дело в том, что они предоставлены. И еще в том, что в действующей Конституции не предусмотрены преграды, препятствующие ее нарушению. Ведь и при Ельцине, по подсчетам Михаила Краснова, имело место наделение президента более чем сорока дополнительными полномочиями, с конституционной точки зрения по меньшей мере сомнительными.

– **Изменение системы – это стратегический проект. А может быть, сначала должно все же сформироваться гражданское общество и добиться простой и понятной цели – честных выборов?**

– Мне даже приходилось читать, что разговоры о конституционной реформе, от этой первоочередной цели якобы уводящие, льют воду на мельницу власти. Между тем дело обстоит как раз наоборот. Честных выборов при сохранении нынешней системы добиться нельзя, допустить их для действующей власти означало бы самоубийство. Порождать же иллюзии, что такое возможно, – это и значит ей, власти, содействовать.

Реагирует она на резолюции митингов? Нет, не реагирует. Результаты декабрьских выборов остаются в силе, виновные в фальсификациях не наказываются, а сами факты фальсификаций судами беззастенчиво игнорируются. Уже сейчас понятно, как будет обеспечиваться нужный процент голосов на президентских выборах за кандидата от власти. И так будет до тех пор, пока будет сохраняться сложившаяся в стране система политической монополии. Раз президент монополист, он может опираться только на бюрократию. Раз он опирается на бюрократию, будет вертикаль власти. Чтобы бюрократия его поддерживала, ей нужны преимущества и привилегии, значит, вертикаль будет коррупционной. Раз она коррупционная, там не может быть места праву и честным выборам.

Я, разумеется, не собираюсь доказывать, что достаточно потребовать изменения Конституции, и успех протестного движения будет гарантирован. Но я знаю, что трансформация авторитарных режимов была успешной только в тех странах, где оппозиция консолидировалась вокруг трех требований: признание действующей власти нелегитимной, проведение честных выборов и конституционной реформы. Эти требования должны предъявляться в едином пакете, политический смысл которого заключается в трансформации авторитарной системы в демократическую и правовую. А взывать только к чест-

ным выборам – значит соглашаться с тем, что монополия на власть сохранится, но один монополист будет заменен другим.

Обращаю ваше внимание на то, что нынешние кандидаты в президенты ничего не говорят о необходимости уменьшения самодержавных конституционных полномочий главы государства. Жириновский не в счет: он может временно обещать и парламентскую республику установить, и сталинский порядок в стране навести. Кстати, к Жириновскому иногда полезно прислушиваться. Парламентская форма правления без президентского противовеса при сохраняющейся инерции авторитарной культуры вполне может привести к тому, о чем я говорил. А именно – к персоналистскому режиму в исполнении премьер-министра.

– Вы ничего не говорите о том, кто будет менять систему. Ждать доброй воли власти?

– Есть люди, которые от нее этого ждут. Давайте, говорят они, будем реалистами и не будем требовать невозможного. Предлагает, мол, Медведев проекты законопроектов, так давайте их обсуждать, давайте требовать нужной нам редакции. Давайте, я не против. Но будем отдавать себе отчет и в том, что ничего, кроме косметических изменений фасада системы, мы таким образом не добьемся.

Допустим, вместо двух миллионов подписей для регистрации кандидата в президенты нужно будет собирать 300 тысяч, а для регистрации партии вместо 45 тысяч членов достаточно будет 500. На первый взгляд, впечатляющая уступка. Но мы же видим, что происходит в Москве, где предстоят выборы в районные органы власти. Для участия в них кандидату требуется собрать всего 50 подписей. И почему-то у кандидатов нежелательных проверяющие инстанции объявляют недействительными ровно на одну подпись больше, чем требуется для регистрации. Система выстроила эшелонированную линию обороны, которую не прорвать, добиваясь частичных уступок.

Отсюда и ответ на ваш вопрос. Без наращивания общественного давления системных изменений ждать не приходится. Пока оно не настолько масштабно, чтобы заставить власть отступить. Не осознала она еще, похоже, и то, что потенциал системы исчерпан и глубокого кризиса ей избежать не удастся. Но общественное давление должно иметь свою стратегию, которая не может сводиться к лозунгу честных выборов.

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНОЕ ПРОШЛОЕ И АЛЬТЕРНАТИВНОЕ НАСТОЯЩЕЕ

– В августе 1989 года в «Литературной газете» было опубликовано ваше и А. Миграняна интервью «Нужна “железная рука”?». Мы хотели бы сначала понять, чем для вас явились прошедшие годы и насколько изменилась ваша точка зрения на то, что такое авторитарный лидер и насколько необходима лидерская диктатура в России¹.

– У меня не только сейчас, но и в 1989 году не было такой точки зрения, что в России нужна «лидерская диктатура». В той публикации были выражены две позиции: моя и Андраника Миграняна. Он был и сейчас остается сторонником авторитарной модернизации. А у меня был всего лишь прогноз возможного авторитарного поворота, основанный на опыте мировых трансформаций в Европе и других регионах. Естественно, это рассматривалось применительно к Советскому Союзу, тогда еще не распавшемуся. Не исключал я в то время и того, что в случае распада на территории СССР возникнет дюжина авторитарных режимов. Горбачев, надо сказать, пытался двигаться в этом направлении, учредив должность президента, а потом испрашивая себе и получая всякие дополнительные полномочия. Но у него ничего не получилось. Теперь, задним числом, можно сказать, что и не могло получиться: перестройка была несовместима с сохранением СССР.

– Но применительно к России и другим постсоветским государствам ваш прогноз подтвердился?

– Я предлагаю говорить только о России. Да, на постсоветском пространстве, кроме стран Балтии и Молдавии, утвердились авторитарные режимы, но они очень разные. Что касается России, то я как раз не считаю, что она развивалась в соответствии с моим прогнозом. Мне казалось, что возможен авторитарный режим как политический инструмент рыночной модернизации. Что-то типа того, что было в Чили при Пиночете или в Южной Корее при власти генералов. В России же сложился режим авторитарного типа, модернизационного потенциала лишенный. Режим, ориентированный на самосохранение, но неспособный инициировать развитие. Неспособный в силу самой своей природы. Внешне это похоже на то, что виделось мне в конце 1980-х, но только внешне.

1 Вопросы задавали *Ирина Чечель* и *Александр Марков*. Опубликовано в журнале «Гефтер.ру» 29 июня 2012 года.

Нынешний политический режим принято именовать путинским, но складываться он начал не при Путине. Ведь действующая Конституция, наделяющая президента почти самодержавными полномочиями, принята задолго до прихода Путина к власти.

– А у вас были на протяжении всего этого периода какие-то надежды относительно «модернизационного» авторитаризма?

– Слово «надежды» здесь не очень уместно. Оно предполагает желание, которое мне приписывали, но которое меня никогда не посещало. Эта тема интересовала меня только во времена перестройки, причем в сугубо аналитическом смысле: мне хотелось поставить происходившее в СССР в общий контекст экономических и политических преобразований Нового времени. Но в атмосфере тех лет объективистские констатации воспринимались как политическая позиция.

Помню, был такой журнал – может быть, он и сейчас есть – «Вестник Академии наук». Так там в моей статье просто взяли и заменили прогноз относительно авторитаризма на политическое целеполагание. Правда, после моих настояний в следующем номере редакция дала поправку. А после публикации в «Литературной газете» мне какое-то время приходилось объясняться по поводу различий между прогнозом и проектом. Надо сказать, без особого успеха: образ поборника «железной руки» прилепился надолго, а все объяснения воспринимались как лукавство. Возможно, в сознании тогдашней интеллигенции сохранялась инерция марксистского воспитания: ведь в марксизме прогноз и проект совпадают, коммунизм – это и то и другое.

Так вот, в конце 80-х я исходил из того, что авторитарная экономическая модернизация возможна, потому что в аналогичных ситуациях она в мировой истории случалась. Ошибка заключалась в самом поиске таких аналогов: опыта трансформаций коммунистических империй в мире не было. Но политически мне такая перспектива не импонировала и тогда, и потому я специально оговаривался: если развитие пойдет в этом направлении, то я буду по отношению к нему в оппозиции. Когда же в 1993-м был обнародован проект авторитарной ельцинской Конституции, его неприятие мне довелось обнародовать в киселевских «Итогах». Надеяться, что такая Конституция откроет перспективу авторитарной модернизации, в то время уже не приходилось. Поэтому не могло быть и надежд. Ну а до того их не могло быть потому, что до того никакого авторитаризма еще не просматривалось.

– А сейчас вы видите такую перспективу?

– Не вижу. Нынешний режим обладает пока ресурсом самосохранения, но инициировать развитие он не сможет. Есть люди, которые отсылают его к опыту Китая, Южной Кореи 60–80-х годов или, скажем, Сингапура. Но воспользоваться этим опытом он не сумеет, даже если очень захочет. Он может опираться

ся только на им же созданную коррумпированную бюрократию, заинтересованную в сохранении статус-кво. Это давно уже общее место, но тем не менее все еще находятся люди, уповающие на способность режима рубить сук, на котором он сидит. Его персонификаторы не скрывают, что ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН по противодействию коррупции они не собираются. И что какие-то структуры, для этого противодействия специально предназначенные, готовы создавать только внутри действующей правоохранительной системы. Какие же тут могут быть модернизационные перспективы?

Этот режим не в состоянии обеспечить развитие, потому что главное условие его самосохранения – игра без правил. Я имею в виду легальные узаконенные правила политической и деловой игры. Они могут или имитироваться, или подменяться игрой по понятиям, в которую власть склонна вовлекать и тех, кто отстаивает в противостоянии ей принцип законности, подрывая тем самым их общественную репутацию. Нельзя ничего модернизировать, опираясь на то, что само нуждается в модернизации и что ей как раз и препятствует.

– Ваша тогдашняя позиция в «Литературной газете» – не знаю, насколько она принадлежала вам, а насколько Миграняну, – основывалась на том, что вы связывали диктаторские полномочия с ситуацией чрезвычайности. Но нынешняя авторитарная игра без правил может быть вовсе не связана с чрезвычайностью, не так ли?

– Там, насколько помню, не было речи о какой-то чрезвычайности...

– Там подразумевалось, что в таком бедственном положении, в каком оказалась страна, когда все социальные и политические механизмы терпят коллапс, когда разрывов больше, чем связей, когда каждая политическая группа диктует свои правила, собрать все это можно только авторитарными методами.

– Честно говоря, не помню, но, раз вы так прочитали, значит, так прочитать можно. Тогда действительно была ситуация распада, но мне казалось, что мыслимо его предотвращение посредством авторитарной трансформации плановой экономики в рыночную, на что Горбачев не шел, при отказе от исчерпавшей себя политической монополии КПСС, на что он не решался тоже.

Но это, повторяю, был прогноз, оказавшийся ошибочным, а не политический проект. Тем более не было у меня, в отличие от людей, поддержавших потом ГКЧП, концепции авторитарной сборки ради самой сборки. Что касается сегодняшней игры без правил, то это сознательно выбранный способ поддержания «стабильности» и самосохранения режима.

– Но у вас была своеобразная концепция альтернатив...

– Такой концепции тоже не было. Было совсем другое. В конце 1987 года я оказался в центре дискуссии о том, была ли альтернатива сталинской систе-

ме. Она продолжалась долго, причем сторонников в ней у меня почти не оказалось. Я исходил из того, что такой конкурентоспособной альтернативы, способной противостоять сталинскому проекту, в Советском Союзе не было, а если даже и была, то возможность ее реализации недоказуема. На эту тему, кстати, у меня был и многочасовой разговор с Михаилом Яковлевичем Гефтером, но к взаимопониманию мы так и не пришли.

Мне казалось тогда и кажется сейчас, что к прошлому целесообразно обращаться только с вопросом о том, почему события развивались именно так, а не иначе, но не с вопросом о том, могло ли быть иначе. Более того, мне казалось и кажется, что сам поиск в прошлом нереализованных альтернатив свидетельствует о том, что в настоящем желаемые альтернативы не обнаруживаются. А они, альтернативы, если и есть, то только в настоящем, которое всегда представляет собой столкновение разных представлений о должном. А какому из них суждено определить ход истории, а какому – быть ею отброшенным, неизвестно до тех пор, пока альтернативное настоящее не стало безальтернативным прошлым.

– Наше постсоветское развитие тоже было безальтернативным? Или оно стало таковым лишь в определенный момент? Если да, то в какой именно? Были ли возможности не превращать сужение демократического поля и подтягивание гаек – ради обеспечения условий для развития – в самоцель?

– Это все тот же вопрос о том, была ли возможность развивающего авторитаризма. Чего-то такого в свое время многие, включая часть либералов, ждали от Путина. Он, мол, укрепит государство, завершит незавершенное реформирование экономики, а потом дело дойдет и до демократии. Подморозит, чтобы затем, уже имея прочный фундамент, приступить к размораживанию. Почему же «подтягивание гаек» превратилось в итоге в самоцель? Я думаю, что вопрос о том, почему произошло то, что произошло, всегда должен предшествовать вопросу о том, могло ли быть иначе. Не беря в расчет блокираторы альтернатив, рассуждать об этих альтернативах было бы несерьезно.

Что делал Путин? Его «подтягивание гаек» изначально заключалось в том, чтобы слабое неправовое государство превратить в более сильное неправовое государство. В «вертикаль власти» последовательно встраивались и были встроены парламент, СМИ, суд, бизнес, региональные руководители, под ее контроль были поставлены все ресурсы страны. А это, в свою очередь, означало, что ресурсы эти были отданы в собственность новой политической и бизнес-элите. И, разумеется, бюрократии – гражданской и силовой, которой было позволено в обмен на лояльность превратить государственную службу в частный бизнес. Надо ли удивляться, что для всех этих групп интересов самосохранение стало самоцелью?

В поисках нереализованной альтернативы такому ходу недавней истории

мы неизбежно упрямся в вопрос, какие группы интересов могли этому ходу реально противостоять. Не уверен, что мы на него ответим. В конечном счете придем к столь любимой в России игре в «если бы». Вот если бы Путин лучше осознавал дарованную ему судьбой историческую миссию, если бы чиновники не были столь корыстны, противники режима – столь слабы, а общество – столь доверчиво... То есть если бы все было не так, как есть. Если бы Россия была не Россией. Чем искать такие альтернативы в прошлом, лучше осознать его безальтернативность и выстраивать их в настоящем. Альтернативы системные, а не персональные.

– До Путина тоже все было безальтернативно?

– Ответственно могу говорить лишь о том, что лично я не в состоянии обнаружить и предъявить какие-либо альтернативы. В моменты исторических переломов направление исторического маршрута задается в его исходной точке. Задается текущими интересами и ценностями ключевых игроков, пользующихся общественной поддержкой.

Теоретически мыслимо, что после августовских событий 1991 года могла быть задана иная траектория развития. Для этого было необходимо учредить новое государство – ведь Российская Федерация до распада СССР была его частью и ее политические институты были сформированы в Советском Союзе. Они, однако, были сохранены. А потом уже что-то изменить было нельзя. Дальнейшие события – конфликт между президентом и Съездом народных депутатов, их борьба за политическую монополию, завершившаяся стрельбой в центре Москвы и Конституцией 1993 года, которая юридически закрепила монополию победителя, – были предопределены.

Разумеется, никто этого не предвидел и предвидеть не мог, эту причинно-следственную цепочку можно выстраивать только после того, как процесс воплотился в результат. Была ли альтернатива такому маршруту? Может быть, и была, но опять же «если бы». Если бы в исходной точке процесса политики и общество осознали необходимость учреждения государства, если бы люди, представлявшие разные институты, не стремились к политической монополии, если бы интересы и ценности этих людей были другие, чем были... То есть опять все то же: альтернатива мыслится при допущении, что все могло быть иначе, будь все иначе в реальной жизни.

Вы скажете, что были силы и лидеры – например, Явлинский, – которые после утверждения монополии выступали с альтернативными проектами. Но это, во-первых, были не проекты трансформации монополии, а проекты ее использования для изменения социально-экономического курса. А во-вторых, желая поддерживать такие силы общество не обнаружило, зато обнаружило готовность принять в качестве альтернативы Ельцину, в котором успело разочароваться, его преемника Путина...

– Те политические силы, о которых вы говорите, объявляли себя «демократическими», носителями «демократической альтернативы». Но почему никто не говорил о возможности альтернатив «антидемократических»? Более того, ведь и в советское время в разговорах о постсталинской истории чуть ли не любая ее развилка тоже объявлялась «демократической альтернативой». Неужели после Сталина уже и помыслить было нельзя возможность антидемократического выбора?

– Насколько помню, об этом говорили. Говорили, что возможен возврат к сталинизму и надо бы его не допустить. При Горбачеве говорили об опасности отката к доперестроечным временам, чего тоже нельзя допускать. При Ельцине говорили об угрозе политического реванша в лице Зюганова. Но все эти пугающие «антидемократические альтернативы» были страхами памяти, больше ничем.

Представление о том, что такие альтернативы могут воспроизводиться в новых формах и персональных воплощениях до тех пор, пока будет воспроизводиться система политической монополии, в обществе только начинает складываться. Равно как и представление о том, что при такой монополии, узаконенной действующей Конституцией, не может быть ни честных выборов, ни нормальных судов, ни свободных СМИ. Не может, кто бы эту монополию ни персонифицировал. А значит, не может быть и авторитарной модернизации.

– Да, но со времен перестройки мы слышим о программах антидемократической альтернативы, которые существуют рядом с демократической риторикой. Я имею в виду программы экономистов и других экспертов, не соответствующие интересам и настроениям населения. При этом утверждалось, что именно экспертное, а не народное мнение должно определять экономическую и социальную политику. И такие утверждения мы впервые услышали не при Гайдаре, а гораздо раньше. Это тоже было безальтернативно?

– Экономические и социальные программы всегда и везде разрабатываются экспертами, а в жизнь проводятся находящимися у власти политиками, которые и несут за эти программы ответственность. Население же должно иметь возможность менять власть на выборах. Наша проблема не в экспертах, которые сочиняют антидемократические программы, а в системе властной монополии, которая воспроизводится в том числе и благодаря персоналистскому менталитету общества.

Именно в этом отношении постсоветская история выглядит безальтернативной. Историей очарований и разочарований в Горбачеве, Ельцине, Путине. И если уход последнего будет сопровождаться лишь сменой персонификатора политической монополии при сохранении самой монополии, то это будет означать, что безальтернативность все еще не изжита.

– Но внутри этой системы могут ведь появляться и альтернативные политические фигуры, консенсусно поддерживаемые значительной частью элит и общества. При Ельцине, скажем, такими фигурами были Черномырдин и Лужков. И меня интересует, как наличие таких фигур может переконфигурировать политическое поле. А интересует меня это потому, что я пытаюсь найти истоки идеи «тандема» еще в ельцинской эпохе, когда Ельцин и Черномырдин одно время тоже образовывали своеобразный «тандем»...

– «Тандемы» Ельцина и Черномырдина, а потом Ельцина и Примакова – это, по-моему, совсем другое. То были «тандемы» людей, представлявших разные группы интересов внутри рыхлой, еще не упрочившейся властной монополии. И Черномырдин, и Примаков претендовали на ее захват после ухода Ельцина. Ельцинская группа постаралась этого не допустить, и ей это удалось. Прежде всего потому, что на стороне Ельцина были его конституционные полномочия, позволившие ему лишить премьерского поста как Черномырдина, так и Примакова. А путинско-медведевский «тандем» – это продукт уже утвердившейся монополии одной группы интересов, одного клана, который и при президентстве Медведева лидера своего видел в Путине, а не в Медведеве. Могут ли внутри этой монополии появиться альтернативные фигуры? Если и могут, то только при очень глубоком политическом кризисе.

– **И этот переход от модели конфликта интересов к модели политической монополии, как я понял, тоже был естественным безальтернативным следствием процессов, запущенных в 1993 году?**

– Да, потому что сами конфликты интересов были конфликтами претендентов на монополию. Юридическая основа для ее установления существовала, она была заложена в ельцинской Конституции, предоставляющей президенту почти самодержавные властные полномочия. Но чтобы эту юридическую возможность использовать, нужен был политический капитал, который Ельциным к тому времени был полностью растрочен. После того как Путин, победив на выборах 2000 года, такой капитал обрел, все бывшие претенденты на монополию поспешили вписаться в монополию путинскую. Ну а те люди из числа «олигархов», которые хотели сохранить в этой системе собственную субъектность, разными способами были от системы отсечены.

– **Игорь Моисеевич, я бы все же хотела кое-что уточнить. Вы сказали, что причина воспроизводства монополярной власти – массовые тяготения к ней...**

– Не только массовые. Такое тяготение испытывает и преобладающая часть нашей политической и интеллектуальной элиты. Разные ее группы отличаются друг от друга не отношением к монополии, а разным представлением об ее, монополии, желательном персонификаторе. Вспомните хотя бы недавние упо-

вания многих либералов на Медведева, их настойчивые попытки уговорить его не отказываться от борьбы за президентство. Обратите внимание и на то, как инвективы против Путина могут сочетаться с протестами против изменения Конституции, что равносильно надеждам на нового монополиста, который будет лучше и прогрессивнее нынешнего.

– Но не проявляются ли в этом давние притязания на монопольную власть так называемого демократического меньшинства? Что стояло за его требованием «полной демократии сейчас и немедленно» на Первом съезде народных депутатов СССР? Разве не желание тех, кто именовал себя «демократами», занять место ЦКовских «хозяев жизни»? Разве не под этим углом зрения рассматривалось полное и окончательное упразднение советской системы – геронтократической, зарвавшейся, ненавистной? Упразднение, которое явится в глазах общества величайшей моральной и правовой акцией, способной обеспечить упразднителям необходимый для прихода к власти моральный статус?

– Да, было такое представление, что демократия – это власть демократов. Есть люди, у которых оно сохраняется и сейчас. Согласен и с тем, что в нем просматривается установка на политическую монополию меньшинства. Но в те времена, о которых вы говорите, она вряд ли была осознанной.

К новой монополии вело не то, что «демократическое меньшинство» хотело моральный статус, обретенный в противостоянии коммунистической системе, превратить в статус политический, – так во времена исторических переломов происходит везде. Дело в том, что у этого меньшинства не было никакого собственного политического проекта, альтернативного низвергаемой системе. Проекта не абстрактного (демократия вместо власти КПСС), а институционального. Об этом в последнее время неоднократно писал Юрий Афанасьев. Ну а в условиях системного кризиса при отсутствии альтернативного проекта на авансцене появляется претендующая на власть альтернативная харизматическая личность, что неизбежно ведет к восстановлению монополии в новой форме.

– Александр Зиновьев одно время считал, что в советской идеологии не было картины кризисного общества. Состояние кризиса ею не предусматривалось вообще. Не кажется ли вам, что сама концепция альтернатив – это начало разработки методов и способов обращения к антикризисным технологиям во власти?

– Дело же не в том, что у Горбачева или у политического класса того времени не было антикризисной программы. После запуска перестройки никакая такая программа спасти советскую систему не могла. Дело в том, что альтернативного проекта не было у тех, кто этой системе противостоял. В отличие, скажем, от антикоммунистической оппозиции в странах Восточной Европы.

Эта оппозиция не сочиняла антикризисные программы. Она разрабатывала проекты изменения системы, понимая, что в коммунистической системе никакая антикризисная программа работать не будет. По той простой причине, что сам кризис, ею переживаемый, был системным. Это были институциональные проекты иной системы, альтернативной существующей.

У нас ничего такого не наблюдалось. В том числе и потому, что до перестройки у нас, в отличие от восточноевропейцев, никто этим не занимался, а во время перестройки было уже не до того: все мы оказались втянутыми в воронку тогдашних политических противоборств. И еще спорили о том, была ли альтернатива сталинизму. А теперь вот говорим о том, были ли альтернативы во времена тех споров... По-моему, не стоит тратить время на поиск в перестроечных и постсоветских временах каких-то нереализованных альтернатив, будь то развивающий авторитаризм или что-то еще. Просто потому, что их там не было. А вот чем стоило бы заняться оппозиции, так это разработкой институциональных альтернативных проектов. И прежде всего проекта изменений Конституции, узаконивающей президентскую монополию на власть.

– Многие, насколько знаю, против этого возражают. Не хотите ли на их возражения ответить?

– Есть и те, кто не возражает. Пункт об изменении Конституции вошел в резолюцию последнего митинга на проспекте Сахарова, присутствует он и в программных документах Республиканской партии. Но возражающих, вы правы, пока намного больше.

Кто-то говорит, что дело не в Конституции, а в ее несоблюдении. Вот, мол, при Сталине какая замечательная была Конституция, столько прав и свобод гарантировала, а на деле... Но так можно говорить, не имея понятия о предмете. В сталинской Конституции каждое упоминание о правах и свободах сопровождалось оговорками насчет того, что эти права и свободы допустимы лишь в случае, если они используются в интересах социалистического строя и ради его укрепления. Так что товарищ Сталин гораздо серьезнее относился к букве Основного закона, чем многие нынешние противники Путина и путинизма.

А что действующая Конституция часто не соблюдается, то это, конечно, так. Но не соблюдаться она не в последнюю очередь может и потому, что один из властных институтов возносит над всеми остальными, наделяя его монопольными полномочиями. Ну а монополист и ведет себя как монополист – чему тут удивляться?

– Вы считаете, что действующая Конституция гарантий демократического порядка не дает?

– Не дает.

– Но она создавалась как такой порядок гарантирующая...

– В ней провозглашены гарантии прав человека, но властные полномочия распределены таким образом, что права эти можно безнаказанно попирать. Не в том смысле, что такое попрание санкционировано, а в том смысле, что его возможность не заблокирована. Но я, если позволите, хотел бы остановиться еще на некоторых возражениях против конституционной реформы.

Есть, например, такое мнение, что Конституцию, разумеется, менять надо, но не сейчас, а потом, когда баланс сил в обществе изменится в пользу сил демократии и прогресса, а при нынешнем их раскладе Основной Закон можно только испортить, т.е. сделать его еще хуже, чем он есть. Что можно на это ответить?

На это можно ответить, что, во-первых, вовсе не обязательно менять всю Конституцию – достаточно изменить положения, касающиеся распределения полномочий между ветвями власти, что, кстати, не требует даже созыва Конституционного Собрания. А во-вторых, само изменение баланса сил если и будет происходить, то оно будет определяться нарастанием социального недовольства широких слоев населения, что выталкивает обычно на политическую авансцену политиков популистско-вождистского типа. И если к тому времени общественное сознание не будет подготовлено к восприятию простой мысли, что при сохранении самодержавной монополии на власть дальнейшее развитие, а стало быть, и улучшение жизни, невозможно, то новой, еще худшей формы такой монополии стране не избежать. Равно как и проистекающих отсюда в дальнейшем катастрофических последствий.

Я не знаю, поможет ли такая просветительская работа предотвратить развитие событий по худшему сценарию. Но когда я слышу ссылки на неразвитость правового сознания населения, на то, что слово «конституция» способно лишь оттолкнуть избирателя, хочется сказать: господа, никакой системной альтернативы политическому монополизму в ваших программах по-прежнему нет. Вы опять хотите бороться за власть, игнорируя конституционно-правовую составляющую политики. Почему же я тогда должен верить, что, получив власть, вы об этой составляющей вспомните?

Еще говорят о том, что, пока Конституцию менять некому, надо добиваться честных выборов, свободы СМИ, реформы судебной системы. Да, ни Путин с Медведевым, ни «Единая Россия» на конституционное ограничение президентских полномочий не пойдут. Но это означает лишь то, что их оппонентам предстоит актуализировать этот вопрос не как тактический, а как стратегический. Что касается честных выборов, свободы СМИ и реформирования судов, то все это сегодня не более реалистично, чем конституционная реформа. К тому же честные выборы будут означать всего лишь честную борьбу за овладение властной монополией при отсутствии гарантий, что новый монополист не постарается превратить честные выборы в нечестные.

Но дело даже не в этих и других возражениях, которые приходится слышать от политиков и экспертов. Дело еще и в том равнодушии, которое проявляет

к конституционной реформе большинство нашего мыслящего класса. Такое впечатление, что в нем, как и в XIX веке, все еще доминирует доправовой тип сознания, характерный для славянофилов, для Белинского и Герцена, Толстого и Достоевского, Каткова и Константина Леонтьева, народников и марксистов. Недавно на одном из интернет-порталов были представлены манифесты наших известных гуманитариев...

– Это в журнале «Афиша» было – 40 манифестов интеллигенции.

– Да, точно. Я прочитал большинство из них, там много интересных и порой тонких рассуждений о том, какие альтернативы могут быть нашему нынешнему состоянию, но требования конституционной реформы не обнаружил ни в одном. Сама по себе она, разумеется, не выведет страну из того исторического болота, в котором она оказалась. Но без такой реформы дороги из этой трясины я не вижу вообще.

– Мне все же не кажется, что политическая монополия Путина была предопределена Конституцией. Эта монополия явилась результатом элитного и общественного консенсуса, причем консенсуса отрицательно-го. Консенсуса тех сил, умонастроениям которых созвучна была, с одной стороны, критика Примакова и его альянса с коммунистами, а с другой – критика либеральных реформ 1990-х. Разве не так?

– Утверждать, что Путин пришел к власти благодаря Конституции, – значит перевернуть все с ног на голову. Действительно, был консенсус разных сил, о котором вы говорите, а возможен он не в последнюю очередь стал потому, что в Москве и других городах взрывались жилые дома, а в Чечне шла война. Но без полномочий, которыми наделяет президента Конституция, Путин не смог бы выстроить свою «вертикаль». Кстати, на похоронах Ельцина единственным достижением, за которое Путин счел нужным похвалить своего предшественника, была именно Конституция 1993 года.

– Как вам видится изменение Конституции? Речь идет о переходе к парламентской республике?

– Среди сторонников конституционной реформы это сегодня самая модная идея. Но мне она не близка. Она соблазнительна своей радикальностью, но любой радикальный разрыв с прошлым и настоящим чреват реанимацией традиции в еще худшей форме.

В парламентской республике президент либо лишен реальных властных полномочий и влияния на политику, либо отсутствует вообще. Главный политический игрок здесь – правительство, формируемое по результатам парламентских выборов. Но при определенной политической культуре, даже более высокой, чем у нас, на роль самодержца может ведь претендовать и премьер-министр, а его партия – на роль монопольно правящей.

Об этом мы можем судить по опыту Словакии 1990-х годов, когда руководителя ее правительства Владимира Мечьяра в Европе называли «дунайским Лукашенко», или по опыту сегодняшней Венгрии. Но в Словакии эта тенденция была обуздана ориентацией общества на вступление в Евросоюз, а в Венгрии обуздывается, хотя и с трудом, ее членством в Евросоюзе. А что может заблокировать движение в этом направлении в России? Напомню, кстати, что во время президентства Медведева мы имели председателя правительства, возглавлявшего партию парламентского большинства. Кто был тогда монополистом? И что изменилось бы, не будь в то время должности президента вообще?

Должность эта должна быть сохранена как противовес правительству. Но полномочия президента следует существенно ограничить. Он должен быть лишен нынешнего конституционного права «определять основные направления внутренней и внешней политики», равно как и права формировать правительство и немотивированно отправлять его в отставку. Оно должно формироваться парламентом и нести перед ним ответственность. А главной функцией президента становится при этом защита конституционного строя и правопорядка в широком смысле слова, для чего его предстоит наделить существенными полномочиями. Я, кстати, думаю, что без политического института, ответственного за правопорядок, нам из коррупционно-криминальной ямы не выбраться.

– Я так понимаю, что именно в этом видится вам системная альтернатива нынешнему положению вещей. Думаете, она реальна?

– Откуда мне знать? Но никакого другого выхода из сложившейся ситуации, которая все большим числом людей воспринимается как тупиковая, я не вижу тоже. И речь идет не только об альтернативе тому, что есть. Речь идет об альтернативе самодержавной российской традиции. Мы подошли к той точке истории, когда ее исчерпанность становится все более очевидной.

– Гефтеровский конец истории...

– О том, что говорил по этому поводу Михаил Яковлевич, я не помню. Коротко скажу о том, что имею в виду.

Послемонгольская российская государственность изначально складывалась как государственность милитаристская, при которой управление обществом осуществляется по типу управления армией. Об этом писали многие старые русские историки – и Ключевский, и Милюков, и Корнилов, и Алексеев. Пик милитаризации жизненного уклада, проявлявшейся и в закреплении всех сословий государством, и в оборонном предназначении городов, и в подавляющем доминировании военных расходов над всеми остальными, и в системе специальных военных налогов, и в осознании обществом общего интереса исключительно как интереса военного, пришелся на эпоху Петра I. Он преобразовал эту милитаристскую государственность для нужд военно-

технологической модернизации, что позволило России обрести имперско-державный статус в Европе, после чего страна вступила в долгий, растянувшийся до 1917 года, цикл демилитаризации. И именно этот цикл представляет для нас сегодня наибольший интерес.

После указа Петра III, освобождавшего дворян от обязательной государственной службы, и жалованных грамот Екатерины II постепенно выяснялось, что демилитаризация представляет собой огромную проблему. Вывода государство и общество из милитаристского состояния, она не в состоянии была ввести Россию и в состояние правовое, обрекая ее на застревание между этими двумя состояниями. Страна, усвоившая военное понятие об общем интересе, не смогла выработать невоенное представление о таком интересе после того, как были легитимированы интересы частные и групповые, а у общества, знавшего до того лишь обязанности, появлялись права. Выяснялось также, что надзаконный статус самодержавия, по-прежнему претендовавшего на монопольное представительство общего интереса, чем дальше, тем больше ставится обществом под сомнение...

– Вы полагаете, что в России сегодня имеет место нечто похожее?

– Полагаю, что да. Из той, первой демилитаризации, оказавшейся тупиковой, большевики вывели Россию в новую милитаризацию жизненного уклада, окончательно оформившуюся при Сталине. Мы помним, как это проявлялось в официальном языке: в нем все, что инициировала власть, именовалось «борьбой», «битвой», «штурмом» или «фронтом». А после смерти Сталина опять началась демилитаризация, по ходу которой рухнул коммунистический режим, и в мирное время распалась военная империя – случай, в мировой истории беспрецедентный. И снова страна в этом цикле застряла, снова принципы права в ней не укореняются, что, как и в послепетровские времена, проявляется в повторяющихся колебаниях между «оттепелями» и «подмораживаниями», либеральными реформами и авторитарными контрреформами. Снова мы видим монопольную власть, на этот раз конституционную, пытающуюся представлять общий интерес. О том, насколько успешно, распространяться не буду.

– И все это, как я вас понял, происходило безальтернативно. А теперь что – альтернатива появилась?

– Пока можно говорить разве что о безальтернативности деградации, на которую обрекает страну система конституционно-выборного самодержавия. Можно предположить, что это последняя российская форма властной монополии, какие бы политические силы ее не захватывали. Выход из ловушки демилитаризации, в которой застрял путинский режим, в милитаризацию большевистского типа вряд ли возможен. Просто потому, что задачи развития в современном мире петровско-сталинскими методами уже не решаются. Да и вернуть население в изобретенное Россией третье состояние, которое не мир и не

война, а мир как война, скорее всего, больше не получится.

Альтернатива исчерпавшей себя самодержавной традиции – правовое государство. Реализуема ли она, и если да, то какой ценой и в каких территориальных границах, никто сказать не может. Единственное, что позволяет об этом судить, – отношение общества к конституционной реформе. Сегодня оно преимущественно негативное либо безразличное, что продляет жизнь архаичной политической монополии, ни к чему, кроме деградации, страну не ведущей.

– Кто в современной России может выступить инициатором конституционной реформы? И насколько легитимна будет сама инстанция, устанавливающая новую легитимность и новые правила легитимного действия?

– Как я уже говорил, действующая власть таким инициатором быть не может. А кроме нее, запустить реформу некому. Такова политическая реальность. Но идея конституционной реформы может стать лозунгом всех оппонентов власти. Это и будет самым надежным критерием, позволяющим судить об их намерениях. Показателем того, чего они на самом деле хотят – устранить монополию или стать новыми монополистами. А решающий сдвиг может произойти лишь тогда, когда идея эта овладеет обществом. Когда значительной его частью начнет восприниматься как безальтернативная.

Без серьезного и целенаправленного давления снизу конституционная реформа невозможна. Пока его нет, вопрос о легитимной инстанции, «устанавливающей новую легитимность», лишен практического смысла. Такой смысл он может обрести только при наличии запроса со стороны общества. Но запрос этот не появится, если политики будут опасаться, что слово «конституция» отпугнет избирателей, а критически мыслящие эксперты и интеллектуалы выход из тупика путинизма будут и впредь искать где угодно, но только не в конституционной реформе.

ЗАТУХАЮЩАЯ ЦИКЛИЧНОСТЬ

– Мы хотели бы поговорить о российской истории – вы о ней много пишете в последние годы. Точнее, об истории российского государства. Вы рассматриваете ее, исходя из триады – силы, веры и закона. Но насколько эти понятия могут в принципе ставиться на одну доску? Вера – нечто кодифицированное, закон – тоже. А вот сила, роль которой вы считаете в отечественной истории заглавной, – что это такое? Некая слепая воля или такая сила тоже учреждает и легитимирует себя и свои действия, апеллируя к закону и вере?¹

– Заглавная роль силы в том, что ее использование может и не кодифицироваться. Приведу несколько общеизвестных примеров, которые, на первый взгляд, могут показаться разнородными, но социокультурная природа которых тем не менее одна и та же. Иван Грозный, ни к каким кодексам не апеллируя, убивал бояр и не только бояр, Петр I рубил головы стрельцам, Сталин делал то, что делал. Это – произвол силы на вершинах власти. Но ведь и Разин с Пугачевым, казнившие государевых слуг, и народовольцы, убившие Александра II, и русские солдаты после Февральской революции, когда еще шла война, вырезавшие дворянский офицерский корпус, воспоминаниями о религиозных и юридических кодексах себя не обременяли. И когда люди у власти сменялись борцами с этой властью, верховенство силы воспроизводилось снова.

Разумеется, без апелляций к вере и законности не обходилось – без этого никакая государственная власть обойтись не может. Но в нашем случае они не означали, что сила ограничивала себя какими-то религиозными либо светскими кодексами. И до сих пор не ограничивает. Достаточно вспомнить хотя бы недавний судебный процесс над тремя молодыми женщинами. Этот случай интересен тем, что произвол властной силы не просто камуфлировался в нем под законность (такое наблюдается часто), но еще и тем, что осуждение «по закону» произошло при отсутствии соответствующей юридической нормы. И это не изобретение нынешних властей; такие примеры можно обнаружить в самых разных эпохах отечественной истории.

Декабристы, напомню, были осуждены на казни и ссылки по закону, но при этом в тогдашнем законодательстве не предусматривались не только наказания за действия, ими совершенные, но и за подобные действия вообще. Их осудили по статьям, которые к их поступкам не имели никакого отношения. Потом, разумеется, пробел в законодательстве был устранен, однако факт

1 Вопросы задавали *Ирина Чечель* и *Александр Марков*. Опубликовано в журнале «Гэфтер.ру» 6 ноября 2012 года.

осуждения при отсутствии необходимой для этого правовой нормы остается фактом. А валютчик Рокотов был по настоянию Хрущева приговорен к расстрелу посредством придания закону, специально принятому уже после ареста Рокотова, обратного действия.

– Когда и как учреждалось и легитимировалось в стране верховенство силы?

– Если взять за точку отсчета опричнину Ивана Грозного, окончательно утвердившего в Московии самодержавный принцип правления, то ее учреждение санкционировалось не только верой, то есть сакральностью царя, ответственного за свои действия исключительно перед Богом, но, как ни странно, и законом. С той, правда, поправкой, что законодательному введению опричнины предшествовало беззаконное применение силы. Введение опричнины было осуществлено с согласия Боярской думы, наделенной Судебником 1550 года законодательными полномочиями. Но – лишь после нескольких устрашающих выборочных казней думцев и при заранее обеспеченной поддержке царя московским людом.

Разумеется, опричный произвол нуждался и в легитимации верой, для чего статус Божьего наместника казался недостаточным. Для этого нужна была поддержка церкви. И когда митрополитом Филиппом в такой поддержке было отказано, верховенство силы было наглядно явлено и в отношении веры. Таковы истоки тех взаимоотношений силы, веры и закона, которые мы наблюдаем по сей день. Естественно, что на протяжении истории эти взаимоотношения менялись, причем в разных направлениях. Но исходная матрица в той или иной степени сказывалась и сказывается постоянно.

– А зачем все же Грозному, чья легитимность была от Бога, «природно-му царю», как он сам себя иногда называл, понадобилось дополнительно легитимировать опричнину законом? Зачем этот PR-ход для законодательного обоснования насилия, которое уже происходило и без того? Ни до, ни после того российская власть к таким вещам вроде бы не прибегала – разве не так?

– Не прибегала. А в данном случае это было вызвано уникальным стечением обстоятельств. Иван Грозный выстраивал модель государства, основанного на верховенстве бесконтрольной силы. Модель, устанавливающую новые отношения между царем и подданными – прежде всего подданными княжеско-боярского звания. Отношения, противостоящие и традиции, и 98-й статье упоминавшегося мной Судебника 1550 года, наделявшей бояр правом законодательствовать вместе с царем. Вот ее-то и поостерегся нарушать царь, равно как и попирать издавна сложившуюся традицию соучастия Боярской думы в принятии законодательных решений.

Статья эта для складывавшейся московской государственности была оче-

видно чужеродной. Она явилась плодом исторического компромисса, который, в свою очередь, стал ответом на произвол, царивший в Московии в предшествовавшее воцарению Ивана IV почти пятнадцатилетнее боярское правление. Не будь этого сбоя эволюции, история страны была бы, возможно, несколько иной, хотя и не принципиально иной. Но сбой случился. Ответом же на вызванный им произвол бояр в центре и бояр-наместников («кормленцев») на местах стали массовые волнения населения в провинции, а потом и московское антибоярское восстание 1547 года. Выходом из глубоко кризисной ситуации и явился исторический компромисс, компенсировавший курс на вытеснение боярских «кормлений» выборной местной властью формальным закреплением права Боярской думы на участие в законодательстве.

Некоторые историки (например, Александр Янов) усматривают в этом изначальный европейский вектор развития Московии, которого ее лишил впоследствии злой гений Ивана Грозного. Я же думаю, что то был ситуативный зигзаг, вызванный последствиями эволюционного сбоя в годы боярского правления. Зигзаг, не означавший, однако, отказа от прежнего московского вектора, ничего общего с европейским не имевшего.

После окончательного освобождения от Орды московские государи искали собственный аналог монгольского правления. Как оно может и должно быть устроено, учитывая, что ханов (царей), под властью которых сглаживались все внутренние противоречия, больше нет? И оно изначально строилось как жестко централизованное и персонифицированное, в нем власть правителей изначально тяготела к обретению статуса самодержавной и неограниченной. Достаточно вспомнить свидетельства иностранцев времен Василия III, отца Ивана Грозного – свидетельства, согласно которым ни один правитель в мире не обладает такой властью, как правитель московский. Или вспомнить об утверждавшемся в официальном языке еще со времен Ивана III слове «холоп», которым должно было именоваться себя каждому при обращении к государю.

Этой деспотической тенденции не мог противостоять принцип формальной законности, вброшенный в чрезвычайных обстоятельствах ради упорядочивания разворошенной боярским правлением московской государственной жизни. Не могла этой тенденции противостоять и церковь, когда верховенство силы материализовалось в опричном войске. Его создание означало фактически введение чрезвычайного положения и чрезвычайного способа правления, позволившего завершить формирование русского аналога ордынской власти, с сохранявшейся политической субъектностью княжеско-боярской элиты несовместимого.

– Но опричное состояние было все же временным. Насколько позволяяет оно судить о природе российской государственности?

– Да, временным, однако после этого возврата к прежнему, доопричному порядку уже не происходило. И еще важно, что в природе российской государ-

ственности заложена предрасположенность к воспроизведению такого рода временных состояний. Внешне это может показаться чем-то похожим на временные комиссарские диктатуры, известные со времен Древнего Рима, в их понимании Карлом Шмиттом. Но тут все же нечто иное. И дело даже не только в том, что в российских вариантах диктаторские полномочия вручались не суверенном порученцу-комиссару, а фактически суверенном самому себе. Если комиссарские диктатуры в Европе учреждались для защиты сложившихся социальных порядков от внешних либо внутренних угроз, то диктатуры Грозного, Петра I или «диктатура пролетариата» в исполнении большевистских вождей были направлены на радикальное *изменение* этих порядков. При этом, в отличие от европейских аналогов, их временность какими-либо конкретными сроками не оговаривалась, а в случае Петра временность и вообще не предполагалась: она выявилась лишь задним числом при его преемниках.

Нелишне отметить также, что петровская и большевистская диктатуры открыто порывали с прежней законностью и со всей «стариной» вообще, между тем как Иван Грозный пытался еще сохранять с ней преемственность. Он не разрушал сложившиеся институты, а принуждал их к легитимации его диктаторских полномочий силой. Зачем ему это было нужно? Затем, очевидно, что сжигать все мосты, соединявшие его с традицией и законностью, он опасался. Да и потом, уже после «законного» учреждения опричнины, его, как известно, постоянно преследовал страх боярской мести за учиненный им произвол, что побуждало даже всерьез рассматривать перспективу эмиграции в Англию. То было время, когда, если пользоваться веберовской терминологией, альтернативы традиционному типу легитимности, апеллирующему к «старине», еще не существовало.

Такой альтернативы, правда, не было и во времена Петра, но ему удалось создать ее военными успехами, коих Грозному добиться так и не удалось, а горечь поражений в затеянной им Ливонской войне пришлось испытать сполна. Петр легитимировал себя уже и как вождя-харизматика, к чему добавил и легитимацию юридическую, узаконив власть царя как самодержавную и ничем в своих действиях не ограниченную. Что касается «диктатуры пролетариата», то она, разрушая прежнюю законность и все старые институты – и на это, кстати, обращает внимание упомянутый мной Карл Шмитт, – в лице своих харизматических вождей легитимировала себя апелляцией к закону историческому и насаждавшей новую верой в его непреложность. Закону, согласно которому буржуазия непременно должна уступить свое господствующее место другому классу, и, при отсутствии у нее соответствующего желания, ей следует «помочь» временным применением силы.

– Давайте все же вернемся к истокам, к тому, с чего все начиналось. Можно ли говорить, что у складывавшейся московской государственности были какие-то аналоги? Насколько помню, в ваших текстах иногда

проводится параллель с османским правлением. В том смысле, что после падения Византии в 1453 году в России рождается модель деспотии в османском стиле. Если так, то почему Россия столь легко воспринимает чужеродные схемы, как вы считаете?

– Я бы не сказал, что Россия перенимает чужие схемы. Присматриваясь к государственному опыту других стран и что-то из него заимствуя, она создавала и до сих пор создает свои собственные схемы. Московским Рюриковичам после освобождения от монголов, чьими наместниками они до того были, предстояло выстроить государство, легитимируя его исторически унаследованной православной верой. Однако Византия, у которой эта вера была когда-то заимствована, к тому времени успела рухнуть под натиском османов. И в Москве задалась вопросом: почему правильная вера греков не помогла им устоять перед неправильной верой турецких султанов?

– И дали ответ: то была кара Божья грекам за несоблюдение чистоты православия – один лишь Марк Эфесский восстал среди них против Флорентийской унии, заключенной Константинополем с католическим Римом...

– Да, реакция Москвы на эту унию была изначально негативной, что повлекло за собой – еще при монголах – отделение московской митрополии от константинопольского патриархата. Но дискуссии о причинах падения греков и победы османов продолжались и после освобождения от монголов. И в центре этих дискуссий оказались понятия *веры и правды*, причем возобладала со временем точка зрения Ивана Пересветова о верховенстве правды, испытывающей веру на подлинность и искренность, на соответствие ей помыслов и поступков людей. Такого соответствия не обнаружилось у греков, зато оно сполна обнаружилось у османов, благодаря чему они, несмотря на неистинность их веры, и оказались победителями...

– Но известно ведь, что культ османского устройства власти существовал не только в Московии. Он был свойственен многим ренессансным итальянским теоретикам, среди которых существовали поклонники Мехмета II и отстроенного им государства, как государства мирного, счастливого, обеспечивающего стабильность, к тому же просвещенного, возглавляемого просвещенным правителем. Они противопоставляли порядок Османской империи отсутствию такового в Италии с ее нескончаемыми гражданскими войнами и беспорядочной борьбой за власть. Достаточно вспомнить, что даже Леонардо да Винчи хотел переехать в Стамбул. Так что интерес к османскому опыту не был специфической русской чертой.

– В Московии как раз не считали османское устройство власти правильным по той простой причине, что неправильной считалась османская вера. Интере-

совались же здесь прежде всего тем, почему эта неправильная вера не помешала одолеть правильную веру греков, роднившую тех с русскими. И пришли к выводу о вторичности веры по отношению к правде, а также к выводу о том, что к правде допустимо принуждать силой. Из этой идеологической конструкции, дополненной заимствованным из Ветхого Завета образом грозного, свенравного и непредсказуемого Бога, которому и надлежит уподобляться его земному наместнику, то есть московскому царю, и произрос потом террор Ивана Грозного.

Из этой конструкции следовало, что царь, несущий ответственность только перед Богом, и есть эталон правды, а потому любое неповиновение его воле, пусть даже всего лишь подозреваемое, есть попрание правды, подлежащее возмездию. Понятно, что при таком понимании правды вера того же митрополита Филиппа могла интерпретироваться как заведомо несправедливая. Можно ли, однако, сказать, что в этом же направлении двигалась возрожденческая политическая мысль итальянцев?

– Наверное, нет. Но тут все же загадка: почему ни Чезаре Борджиа, ни кому-то другому при не меньших, чем у Грозного, государственных устремлениях и не меньшей жестокости не удалось адаптировать модель Османской империи? Модель государственного устройства, считавшегося многими ренессансными теоретиками лучшим, чем итальянские республики?

– Вопрос интересный, но он далеко за пределами нашей темы. К тому же Московия, повторяю, не адаптировала османскую модель. Тут не было ни янычарского войска, комплектуемого из обращенных в ислам пленных и их детей, ни элементов платоновского государства, то есть формирования чиновничьего класса тоже посредством специального обучения плененных детей при запрете им иметь семью и освобожденных тем самым от собственных соблазнов, ни многого другого. Московские Рюриковичи строили деспотию не на турецкий, а на собственный манер, и об этом, надеюсь, мы еще поговорим. Потому что иначе непонятно, почему российская модель в перспективе оказалась жизнеспособнее турецкой: Османская империя, некогда всесильная, уже в XVIII веке стала превращаться в «больного человека Европы», а империя Российская, проходя через многочисленные потрясения, наращивала тем не менее свою военную мощь, став в XX столетии одной из мировых сверхдержав. Иначе непонятно и то, почему сверхдержавность эта не предоохранила ее от распада в мирное время, что в истории континентальных империй случай беспрецедентный.

Но пока еще раз зафиксируем: все начиналось с установления верховенства правды над верой, что идеологически санкционировало верховенство силы и над верой, и над законом. А к этому добавим, что культ правды вошел и в народную культуру, вошел как некий идеал жизнеустройства, с существующим

устройством несовместимый и его категорически отрицающий. Помните? «Велика святорусская земля, а правде нигде нет места»...

– Сейчас в России началась работа над переводом французского словаря философских непереводимостей Барбары Кассен. И там есть статья К. Сигова под названием «Правда». Греческое «правосудие» (δικαιοσύνη), будучи переведено как «правда», впоследствии стало в ряде случаев перетолковываться как этический императив. Из чисто юридического легитимистского понятия «правда» стала превращаться в некое полусакральное знание: кто ведаёт правду, тот и имеет право на власть. И ведь не только великие князья и цари московские, но и русские революционеры, включая большевиков, выставляли свою приверженность правде как основной источник своей легитимации.

– И как право на применение силы, свободное от ограничений со стороны права.

– Ну да, «широки натуры русские, нашей правды идеал не влезает в рамки узкие юридических начал»...

– Это интересно – я имею в виду сказанное вами о трансформации юридического понимания правды (действительно, была же «Русская правда») в понимание принципиально внеправовое. Причем как на вершине государственной пирамиды, так и в ее социальном основании. На вершине оно служило сакрализации самодержавной власти, а в основании фиксировало некий смутный идеал, служивший точкой отсчета для отрицания всего, что находится между этой властью и населением.

Посмотрите русские пословицы и поговорки или почитайте о них интересный текст Павла Солдатова на сайте «Либеральной Миссии». В них сакральный царь (он всегда рядом с Богом), сакральный и одновременно профанный «мир» (община), что свидетельствует о его восприятии как социально самодостаточного и самоценного, но государственно беспомощного, а все, что между царем и «миром», отвергается как несправедное. Неправедны бояре и дворяне, неправедны чиновники и судьи, неправедны священники. За редчайшими исключениями, нет ни о ком из них позитивных изречений, сплошной негатив! А что с ними людей примиряло? Примиряло представление о том, что неправедность эта обречена быть *временной*, что правда рано или поздно свое слово скажет («будет и на нашей улице праздник»).

Очень важная, между прочим, ментальная особенность. Думаю, она сыграла не последнюю роль и в относительно долгой легитимации классовой «правды» большевиков, предложивших воспринимать жизненные невзгоды как «временные трудности» на дороге к «светлому будущему», и в последующей делегитимации их власти, когда изначальный обман начал людьми осознаваться. А что было ему противопоставлено? Ему была противопоставлена но-

вая правда – правда эпохи перестройки и последовавших за ней реформ, тоже в восприятии большинства быстро потускневшая.

Что же мы имеем сегодня? Насколько могу судить, идеал правды, как альтернативы существующему, больше не воспроизводится, как не воспроизводится и восприятие этого существующего как временного. Сохраняется прежнее неприязненное отношение к большому и малому начальству, а вот ожидание «и на нашей улице праздник» народонаселение, похоже, оставило в прошлом. Но если так, то что это может означать? Что нечто существенное в российской истории завершилось? Если да, то что иное пришло ему на смену и насколько это иное жизнеспособно? Или еще не пришло, а только идет? Но если идет, то опять-таки что именно? Право вместо правды или деградация при отсутствии идеалов правды и права? Тут есть о чем размышлять.

– Приведенная вами пословица («велика святорусская земля, а правде нигде нет места») напомнила мне другую известную фразу: «Земля наша велика и обильна, но порядка в ней нет». Не кажется ли вам, что представление о правде, о которой мы сегодня рассуждаем, – это представление о социальном порядке и отсутствии такового?

– Оно, как мы выяснили, могло быть и представлением о неприемлемости существующего порядка, о запросе на его замену другим. Но это хорошо, что вы перевели разговор в эту плоскость. Это позволяет мне перейти к вопросу о том, какой тип социального порядка изначально устанавливался в послеордынской Московии во имя правды, как он со временем менялся (тоже во имя правды), но не сущностно, а лишь по форме, дожив до нашего времени.

Меня, честно говоря, не перестает удивлять, почему люди, размышляющие об отечественной истории и изначально складывавшемся в ней в послемонгольские времена типе социального порядка, обходят наследие старых русских историков. Если попробовать суммировать их констатации, то в русском социальном порядке два основных состояния, переживаемые народами, – мира и войны – объединились в некоторое третье состояние *мира как войны*. Это значит, что московское государство складывалось как милитаристское, причем *особое* милитаристское, выстраивающее повседневную жизнь не только во время войны, но и во время мира по армейскому образцу и управляющее населением так, как управляют армией. Перефразируя фон Клаузевица, считавшего войну продолжением политики другими средствами, можно сказать, что сама российская политика формировалась как продолжение войны другими средствами.

О чем пишет, скажем, Ключевский? Он пишет о том, что послеордынская Московия была служилым государством с «боевым строем», что устроено оно было на манер «военного лагеря» и что социум того времени состоял из «командиров, солдат и работников» с принудительной разверсткой обязанностей: работники должны были командиров и солдат безвозмездно обслуживать.

А о чем пишет Павел Милюков? Он пишет о том же: Москва была «настоящим военным станом, главным штабом армии», распространявшим армейскую организацию жизни на все население. В частности, посредством военных налогов, которые были разными и взимались на конкретные цели: на содержание «пищальников», на изготовление пороха для ружей, на постройку укреплений и засек. Был и отдельный налог на выкуп из плена тех, кто стал жертвой татарских набегов из Крыма, – «полоняничные деньги»...

И Николай Алексеев, известный историк евразийского направления – о том же самом: московское государство «имело характер военного общества, построенного как большая армия, по принципу суровой тягловой службы».

Казалось бы, эти и аналогичные констатации, которые встречаются и у других старых авторов, начиная еще с Радищева, невозможно не заметить. А заметив, или принять их, или попытаться опровергнуть. Но нет: не принимают и не опровергают. Просто не замечают. И это тем более странно, что милитаристская государственность старомосковских Рюриковичей, доведенная до державно-имперской кондиции Петром I, в новой форме несколько столетий спустя воспроизвелась в Новомосковии большевиков. Мы же помним эту сталинскую милитаризацию жизненного уклада, когда страна была объявлена «осажденной крепостью», когда все происходившее в ней официально именовалось борьбой, битвой, сражением, штурмом, когда правящая партия во всех своих уставах называла себя «боевой организацией», а своих членов – «солдатами партии», когда достижения в труде приравнивались к военному подвигу...

Значит, была в нашей истории эта милитаристская сквозная линия, в одни времена явно, а в другие – не очень явно определявшая особый тип российского государства. Но такое государство, выстроенное по армейскому образцу, как раз и предполагает не самостоятельную, а обслуживающую роль как веры (или заменяющей ее светской идеологии), так и законности по отношению к его совокупной силе. Силе, персонифицированной в верховном правителе и только ему подчиненной. В служении ей, которое большевики называли «беззаветным», то есть никакими договорами (заветами) и законами не обусловленным, и заключается суть той «правды», о которой мы говорили. Но сколько-нибудь заметного интереса эта линия, повторяю, не вызывает.

– Почему, как вы думаете?

– Однозначного ответа у меня нет. Возможно, сказывается психологическое отторжение марксизма, когда в любой концептуализации истории чудится реанимация абстрактных «закономерностей», подминающих под себя живую историческую жизнь, или «однофакторных» объяснительных схем, к которым многообразию этой жизни несводимо. Но милитаризация, о которой я говорю, это ведь не абстрактный теоретический принцип, а эмпирическая очевидность. Разумеется, есть, помимо нее, и другие «факторы». Но ведь и она тоже

есть. И почему же ее и ее связь с этими другими «факторами» правомерно игнорировать?

Тут сказываются, возможно, и тенденции в мировой исторической науке последних десятилетий. И прежде всего сдвиг в ней от изучения государственных и других институтов к исследованию повседневности, различных ее пластов. Это, безусловно, плодотворное направление, и оно очень успешно у нас развивается. Но познание повседневности, которая даже в тоталитарном социуме относительно автономна и развивается не только по предписанной, но и по собственной логике (чем и интересна), очень мало продвинет нас в понимании специфической природы российской государственности. Той самой, при которой из века в век воспроизводилась убогая повседневность большинства, а развившаяся культура повседневности отдельных групп населения не раз ломалась через колено, когда государственность эта меняла свою форму.

– А у представителей других областей общественности есть к этому интерес?

– Тоже не замечал. Есть, например, очень содержательные интерпретации российской истории с использованием теории циклов, но факт милитаризации обходится и в них. Ближе всего к тому, о чем у нас речь, подходы, при которых специфическая природа российской государственности фиксируется в понятиях «ресурсного государства», как у Симона Кордонского, или «раздаточной экономики», как у Ольги Бессоновой. Но нерыночное распределение («раздача») и перераспределение ресурсов – это ведь не что иное, как способ управления армией, это и есть следствие того, что я называю милитаризацией государства и социума.

– Того типа милитаризация, о которой вы говорите, – это нечто беспрецедентное? Нигде, кроме России, ничего такого не наблюдалось?

– В свое время Герберт Спенсер, идя в этом отношении за Огюстом Контом, указал на различие двух типов социальной организации – «воинствующего» и «промышленного». И, соответственно, двух типов кооперации – «насильственного» и «добровольного». Типичный пример первого типа он усматривал в регулярной армии, где люди подчиняются приказам, а все необходимое им для поддержания жизни получают по «произвольному распределению». А типичный пример второго типа – контрактная система, в которой производители и потребители добровольно вступают в определенные отношения, основанные на обмене услугами. Есть у Спенсера и ответ на ваш вопрос: через «воинствующий» тип социальности прошли все народы, хотя способы милитаризации могли при этом существенно различаться, а ее мера не у всех была столь значительной, как в древней Спарте или империи инков.

Вспомним средневековую Европу. Что представлял собой ее феодализм? Он представлял собой, безусловно, одну из моделей милитаристской организа-

ции государства и социума. Многоступенчатая феодальная иерархия, возведенная на основе условного владения землей в обмен на службу, была иерархией военной. На ее вершине находился король, а в подножье – крепостной крестьянин, обслуживавший все звенья этой иерархии.

– И в России было условное дворянское владение землей. Да и колоны, крепостные крестьяне, как известно, тоже были...

– На этом сходство и заканчивается. Феодализма в его европейском понимании в России никогда не было. Особенность европейской феодальной иерархии заключалась в том, что отношения в ней строились на основе правовых принципов, когда у вассалов были не только обязанности перед сюзеренами, но и определенные права. Это была милитаристская модель, включавшая в себя договорную, контрактную составляющую, предусматривавшую судебную процедуру разрешения конфликтов. Или, говоря иначе, милитаристская модель, потенциально способная к качественной культурной и институциональной трансформации.

Послемонгольская модель «беззаветного служения» (или, как тогда говорили, служения «верой и правдой») была принципиально иной. Не имела она ничего общего и с королевским абсолютизмом, который ко времени освобождения Московии от монголов начал уже утверждаться в Европе. Московское самодержавие укреплялось посредством усиления милитаризации. Утверждение же европейского абсолютизма означало как раз *демилитаризацию* социума.

Это были два разных способа вхождения в Новое время. В Европе оно осуществлялось на основе описанного впоследствии Спенсером добровольно-контрактного типа социальности, который сложился еще в доабсолютистскую эпоху. Он сформировался в свободной городской среде, ставшей результатом долгой борьбы городов с феодальными баронами и появления фигуры профессионального торговца, добившегося права торговать не по предписанным, а по добровольно оговариваемым – с продавцами и покупателями – ценам. Соответственно, формировались и институты, такую деятельность обслуживавшие: системы правовой защиты контрактов, прав собственности и страхования рисков, системы банков, использовавших векселя... В свою очередь, наличие таких институтов способствовало вызреванию новой морали, санкционированной религией и предполагавшей доверие друг к другу партнеров, не находившихся в родственных отношениях.

Я понимаю, что проговариваю общеизвестные вещи, но они важны для понимания того, что милитаризация жизненного уклада происходила в России тогда, когда Европа из своей милитаризации, существенно к тому же от российской отличавшейся, уже выходила. Тогда, когда контрактные отношения распространились в Европе и на армию, которая из сословно-феодальной стала превращаться в наемную. Налоговые поступления от богатых торго-

ремесленных городов позволяли ее содержать. В России же, повторю, именно милитаризация стала специфическим способом адаптации к вызовам европейского Нового времени без освоения его ценностей: ничего из того, что я перечислил, в ней не было, а то, что было на местных уровнях, уничтожалось – достаточно вспомнить судьбу Новгорода и Пскова. Можно сказать, что милитаризация, достигшая своего пика при Петре I, стала ее, России, особым путем в Новое время.

– Говоря о милитаризации, вы ссылаетесь на три фигуры – Ивана Грозного, Петра и Сталина. Но можно ли утверждать, что имевшее при них место верховенство силы репрезентирует всю российскую историю? Ведь были в стране и монархи, которые правили в духе европейской политической мысли, в духе Гоббса и других.

– Если что-то похожее на гоббсовскую абсолютную власть суверена здесь и наблюдалось, то с гоббсовской свободой в частной жизни, включая экономическую деятельность, дело обстояло много хуже...

– Тем не менее суверены, устанавливающие не военный, а мирный порядок, блокирующие вползание страны в состояние внешней или внутренней войны всех против всех, войны страстей и интересов, в России бывали. Суверены-миротворцы, стремившиеся к общему благоденствию.

– Кого конкретно вы имеете в виду?

– Например, Павла I. Он ведь ничего не милитаризировал, а пытался учредить общий европейский порядок и гражданский порядок в России. Причем не сословный, а меритократический – отсюда и давление на дворянство. Да, средства порой использовались насильственные, но цель-то была другая. Целью были мир и порядок.

– Пример с Павлом интересный, но начну все же не с Павла. Начну с того, что пики милитаризации – это действительно Грозный, Петр и Сталин. Они были военными диктаторами, радикально менявшими форму государственной системы. Но милитаризаторская тенденция возникла ведь не при Грозном, а много раньше, о чем и писали старые русские историки. И после него она хоть и была приглушена, но никуда не исчезла, будучи потом дважды переведенной в диктаторские режимы чрезвычайного положения.

А что происходит, когда режимы эти сходят со сцены? Происходит демилитаризация жизненного уклада в измененной ими системе – так было в послепетровские времена и так же было во времена послесталинские. Потому что ни элиты, ни население милитаризацию жизни, размывающую границы между войной и миром, долго выдерживать не могут.

– Но чем все же объясняются повторяющиеся срывы демилитаризаций и обвалы в новые милитаризации? Неужели это предварительно заданная историческая программа?

– Срывы и обвалы объясняются, по-моему, тем, что российские демилитаризации были дозированными. Границу между милитаристским и правовым государством они не переступали, а пытались удержать страну в некоем промежуточном состоянии между тем и другим. Отечественная история как раз и свидетельствует о том, что такое состояние стратегически устойчивым быть не может, что рано или поздно оно ведет к срывам и обвалам. Демилитаризация – это не решение проблемы, а сама проблема. Проблема выхода из демилитаризованного социума в правовое государство. Она, как видим, и сегодня не поддается решению.

Что происходило в России после Петра? Происходило постепенное раскрепощение сословий, первый этап которого завершился освобождением дворян от обязательной государственной службы при Петре III и Екатерине II. В результате же фундамент служилой государственности был разрушен, а новый под нее не подведен. С одной стороны, мы видим гигантский рывок вперед от идеи разверстки обязанностей к идее права, включая право дворян на земельную собственность, а с другой – разрушение социального консенсуса: крестьянин служит дворянину, поскольку тот служит царю.

Что стало ответом на эту демилитаризацию? Одним из ответов стала пугачевщина. А что обещал восставшим Пугачев? Он обещал им государство, преобразованное на манер *казачьего войска*, то есть некую народную версию все той же милитаризации.

А другой ответ предложил как раз Павел I. Он, конечно, не был милитаризатором в духе первого русского царя Ивана или первого императора Петра, хотя современники (Карамзин, например) и склонны были сравнивать его с Иваном Грозным. Он действительно хотел мира и восстановления подорванного социального консенсуса, хотел дисциплинировать разболтавшееся при его нелюбимой матушке дворянство и много чего еще хотел сделать (и кое-что сделать успел). Но, восстанавливая этот консенсус, он стал пренебрегать узаконенными Екатериной «на вечные времена» правами дворян, фактически отменил их, что и стоило ему жизни. Да и обещание мира, данное при восшествии на престол, оказалось невыполненным: вскоре Павел пошлет Суворова воевать с Наполеоном в Европе...

– А потом пошлет казаков воевать в Индию...

– Ну да, а Александр I успеет их вернуть, что спасет их, по мнению многих историков, от гибели. Но я бы не хотел сейчас уходить в подробности политики Павла. Если же говорить о его правлении в целом, то отмена дворянских вольностей означала фактическую ремилитаризацию, что с реальным ходом российской истории было уже несовместимо. Но потом намеченный Павлом

вектор дал о себе знать в более дозированной ремилитаризации, символизированной военной муштрой и военными парадами, во второй половине царствования Александра I и особенно при Николае I. Ну а закончится все поражением в Крымской войне и вторым после Екатерины вековым многоэтапным актом демилитаризации, раскрепостившим крестьян, отменившим введенную Петром I солдатскую рекрутчину, учредившим всеобщие земства и независимый суд. Актом, призванным, по замыслу, восстановить базовый социальный консенсус распространением правового принципа на все общество. Но и на этом пути его восстановления, как известно, не случилось.

Вырваться из демилитаризации в правовое государство не получалось. Получалось, как мы теперь знаем, никем не осознававшееся сползание к новому витку тотальной милитаризации. Почему? Потому что эволюция самодержавия от приоритета силы к приоритету закона с сопутствующими попытками поднять статус веры в духе графа Уварова, описанная в свое время Александром Корниловым...

– Вы имеете в виду его «Курс истории России XIX века»?

– Да, именно его. И там хорошо показывается, как все императоры этого столетия начинали свои царствования с деклараций насчет утверждения и укрепления законности, сохраняя свою власть как самодержавную и ничем не ограниченную, что тоже со времен Петра I было закреплено в законодательстве. Но причина их неудач не только в том, что законность на нижних этажах и неограниченная власть на этапе верхнем плохо друг с другом сочетались. В конце концов, после 1905 года власть эта была ограничена Государственной думой, избираемой населением, которое получило и политические права. И тем не менее правовое государство не состоялось, обвала государства с последующей новой милитаризацией избежать не удалось. Так что вопрос остается: почему?

Дело в том, что заимствовавшиеся европейские права и свободы накладывались в России на сохранявшийся остов милитаристской системы, что не могло не сопровождаться их деформацией и, соответственно, не могло не лишать их жизнеспособности. Вводился, скажем, принцип равенства перед законом (это я о судебной реформе Александра II), но предусматривалось и ограничение: возбудить дело против чиновника дозволялось только с согласия чиновника вышестоящего. И экономические свободы тоже допускались дозированно. В результате же государство под воздействием чужеродных для него инъеций со временем не столько усиливалось, сколько ослаблялось, а экономика так и не получала импульсов, достаточных для ее трансформации из экстенсивной в интенсивную. Это, в свою очередь, понуждало к продолжению имперской политики присоединения новых территорий и после того, как «собираение земель» было завершено.

Кстати, сейчас можно наблюдать возрождение исследовательской тради-

ции, идущей еще от Ключевского, в которой именно имперскость России, ее никогда не иссякавшее стремление к колонизации выступает исходной точкой в объяснении природы ее государственности. Но это еще большой вопрос, что здесь первично, а что – вторично. Я-то склонен считать, что именно отмеченный тем же Ключевским изначально милитаристский характер этой государственности, ориентированной на экстенсивность и очень плохо сочетаемой с интенсивной рыночной экономикой, предопределил тяготение к имперской экспансии, а вовсе не наоборот. Тяготение, сохранявшееся и во времена демилитаризации. Правда, у самого Ключевского милитаризация и имперскость рассматриваются как рядоположенные, в причинно-следственную связь они не ставятся. Но если такую связь устанавливать, то я, повторяю, отнюдь не уверен в том, что первичность следует признать за имперскостью.

– Послесталинская демилитаризация была идентична послепетровской?

– При всей своей специфике, она происходила в той же логике. Раскрепощались элиты, раскрепощалось население, легитимировался частный интерес, подмятый при Сталине интересом общим, ослаблялся произвол надзаконной силы. Но остов милитаристской системы и в данном случае оставался нетронутым, а искусственно скрещиваемые с ним нововведения жизнеспособности ему не только не добавляли, но и лишали той, что была. Между тем страна оказалась перед очередным технологическим вызовом со стороны Запада, ответить на который ей было нечем. Обнаружилось вдруг, что петровско-сталинские методы принудительно-силовой модернизации свой век отжили, что с их помощью из очередной ловушки экстенсивности выбраться уже не получится.

Эту проблему и унаследовал Горбачев. Мы помним, как он ее решал. Он решал ее, пытаясь наложить на милитаристский остов такие несовместимые с ним вещи, как демократия, частная собственность и рынок, а от применения в политике силы отказавшись вообще. Тут-то и выяснилось, что без нее ни светская коммунистическая вера-идеология, ни «социалистическая законность» ничего не скрепляют, что без нее все рухнет. Таков был итог первого (коммунистического) этапа послесталинской демилитаризации. Ну а те, кто Горбачева за все это ругают, пусть хотя бы задним числом поведают о том, как бы они сами решали выпавшую на его долю историческую проблему.

А она ведь и до сих пор проблема. Проблема выхода из продолжающегося цикла послесталинской демилитаризации в правовое государство. Или, что то же самое, из демилитаризованной социальности в социальность добровольно-контрактную. А что препятствует ее решению?

Ее решению мешает не только беспрецедентный эгоизм властвующих и окол властных групп, трансформировавших идею служения общему интересу в идею служения интересам частным. Этому мешает и то, что *невоенное* понятие об общем интересе как подвижной равнодействующей интересов част-

ных и групповых отсутствует в российском социуме. Он столетиями приучался и научился делегировать представительство общего интереса первому лицу государства, что всегда сопровождалось стремлением его ставленников в центре и на местах государство приватизировать. И особенно заметно такие соблазны проявляются в демилитаризаторских циклах. Ну а сегодня, когда аппетиты властвующих и привластных групп впервые в российской истории не сдерживаются угрозой большой войны, понятие об общем интересе свелось у них к понятию о «стабильности», то есть о сохранении комфортного для них статус-кво.

– А население имело какое-то отношение к этим милитаризациям-демилитаризациям?

– Оно никогда не испытывало восторга ни от первых, ни от вторых. И вообще, я не склонен к тому, чтобы специфическую цикличность российской истории выводить из менталитета населения. Никакой предрасположенности к милитаризации в этом менталитете не было. Когда Петр I отдал целые области в распоряжение армейским командирам, люди отвечали на это массовым бегством на окраины. Когда большевики ввели «военный коммунизм» с его «милитаризацией труда» и прочими прелестями, люди отвечали восстаниями...

– И на военные поселения, учрежденные Александром I, тоже.

– Военные поселения воспринимались крестьянами как нечто такое, что вообще за гранью добра и зла. И не потому, что условия жизни там были хуже, чем обычные; они были лучше и цивилизованнее. Но в них милитаризация повседневности касалась не только взаимоотношений землепашцев с государством, а покушалась на сам их род занятий, заставляя быть одновременно и земледельцами, и солдатами.

Конечно, это чем-то напоминало казачий быт, но там он принимался, во-первых, добровольно, а во-вторых, основную массу крестьян он не привлекал. Да, многие из них оказались готовы в свое время встать под знамена Пугачева, но двигало ими, скорее всего, то враждебное отношение ко всем «господам», находившимся между ними и царем, которое зафиксировано в упоминавшихся мной пословицах и поговорках. По отношению к этим сословиям и группам они чувствовали себя вправе применять силу, что соответствовало их представлениям о правде. Правде, которая не соотносилась ни с верой, слабо в их сознании укорененной, ни с законностью, укорененной еще меньше. Правде, следуя которой они без колебаний, о чем я уже упоминал, после Февраля 1917-го стали в массовом порядке убивать офицеров-дворян. Да и других такого рода примеров более чем достаточно. Не будь этой враждебности, возникшей независимо от большевиков и за столетия до них, им не удалось бы ни захватить власть, ни тем более удержать ее.

– У меня возник вопрос о силе и насилии. Разве это одно и то же? Можно обладать силой, но насилие не чинить.

– Но мы же до сих пор говорили о силе, используемой для насилия. В этом использовании и проявляется ее верховенство над верой и правом.

– Хорошо, но есть все же разница между верховенством силы у верхов и низов. У верхов оно проявляется в репрессиях, которые как-то планируются и имеют какую-то цель, а у низов – в спонтанном и бесцельном насилии. Я это к тому, что насилие того же Павла I и насилие Пугачева, как и упомянутый вами солдатский произвол, – не одно и то же. И советская милитаризация, насколько понимаю, выражала именно низовое представление о насилии и его методах, разве нет?

– Если произвол силы наверху, если там нет правовых сдержек, произвол блокирующих, то представление о праве силы будет сохраняться и на других этажах социума. Причем не только на самых нижних – не крестьяне же убили императора Павла. Что касается советской милитаризации, то никаким народным представлениям она не соответствовала. Если опять же судить по пословицам и поговоркам, то в народном лексиконе не было места для таких слов, как «держава», «патриотизм», «великая Россия» и даже для слова «государство», а армия ассоциировалась не с героическими подвигами, но с дополнительными тяготами. Да, советский порядок возник и утвердился, используя враждебность низов к тем, кто стоял над ними. Милитаризация же в ее сталинском исполнении могла состояться только потому, что альтернативы ей в народном сознании не было, никакого собственного образа государства в нем исторически не сложилось.

В изолированных друг от друга локальных общинных мирах, где преобладали анархические настроения, такой образ и не мог сложиться. И подобно тому, как поражение Пугачева выявило неконкурентоспособность казацкого идеала жизнеустройства, так разгром антоновского восстания большевиками выявил бессилие идеала крестьянского. Другое дело, что среди тех же крестьян нашлось немало людей, готовых осуществлять милитаризацию в роли больших и малых начальников, в роли сталинской бюрократии. Людей, чьи представления о насилии, будучи ассимилированными государственной системой, вполне вписывались в ее собственную идеологию и практику.

– Следовательно, бюрократия тоже была милитаризованной?

– Разумеется.

– И чем такая бюрократия отличается от собственно военной?

– Только тем, что управляет не армейскими, а гражданскими делами. Как и военная, она руководствуется не законом, а идущими сверху и транслируемыми по вертикали власти приказами, исполнять которые, под страхом

суровых наказаний, должна любыми методами, используя все наличные ресурсы.

– То есть речь идет о бюрократии чрезвычайного положения?

– О бюрократии милитаризаторских циклов, которые и есть циклы чрезвычайного положения – независимо от того, объявлено оно или нет. Так ведь не только при Сталине было. Так было при Иване Грозном, так было и при Петре I. И всегда это сопровождалось сменой служилого слоя, его радикальным обновлением или переформатированием. Опричное войско, как и сталинская бюрократия, тоже ведь в значительной степени формировалось из низов. Что, впрочем, не было изобретением Грозного – Александр Александрович Зимин, известный советский историк, показал в свое время «холопское» происхождение послемонгольского дворянства и послемонгольского чиновничества, предопределившее их ментальные особенности, намекая тем самым на советских начальников и их менталитет. А Петр I наряду с людьми вроде Меншикова вводил в управленческую иерархию иностранцев, а контроль над ней препоручил созданной им гвардии...

– И все это, как я понимаю, соответствовало каким-то представлениям о правде, которая должна воплощаться «опричь», то есть поверх статускво, поверх сложившихся иерархий. Такие представления разделялись и правителями, и социальными низами. Но откуда она, эта правда, согласно которой социальный порядок лучше всего может быть выстроен возвышением десоциализированных людей? Правда, прошедшая через нашу историю от опричнины до большевиков?

– Когда самодержавная система резко меняет форму, будь то по инициативе правителя или посредством революции, появляется спрос на поддерживающих такие перемены новых управленцев, готовых, в отличие от прежних, привязанных к старой форме своими привычками и интересами, служить «беззаветно». Это из разряда тех ситуаций, когда «кадры решают все». Ну а при том отношении к правящим группам, которое складывалось у населения не без их участия, какое другое представление о правде, об образе «на нашей улице праздника» могло у этого населения появиться? И стоит ли удивляться тому, что российские милитаризаторы этот готовый человеческий материал столь охотно использовали?

– А что происходило с правящим слоем, с той же бюрократией в демилитаризаторских циклах?

– Если говорить об этом в самом общем виде, не погружаясь в детали и исключения, то она деградировала. Она деградировала и тогда, когда милитаристская инерция в ее среде поддерживалась назначением на руководящие должности бывших военных – об этом писал еще Радищев, видевший в россий-

ском гражданском управлении неадекватный аналог армейского. Она деградировала и продолжает деградировать и в послесталинском демилитаризаторском цикле по той простой и мной уже упоминавшейся причине, что никакого стратегически устойчивого социального порядка демилитаризация сама по себе не создает. Застревание бюрократии в состоянии между управлением по приказу и управлением в соответствии с безличной (и обязательной для исполнения) правовой нормой ничем, кроме деградации, сопровождаться не может.

– Примерно о том же в интервью «Русскому журналу» говорил Святослав Каспэ. О том, что наша бюрократия, с одной стороны, не может жить без приказов, а с другой – делает все, чтобы их блокировать, потому что выполнить не в состоянии. Но ведь ничего другого, кроме выполнения распоряжений президента или правительства, она делать не умеет! Такой вот парадокс саморазрушающейся бюрократии.

– Даже если распоряжения, идущие сверху, направлены на рационализацию управленческой системы, они не могут быть выполнены, потому что система эта сверху донизу подчинена не безличным правовым нормам, а причудливо переплетающимся частным и групповым интересам. Эти интересы и создают свою собственную коррупционно-теневую «рациональность», гасящую любые рациональные (без кавычек) импульсы и сигналы, откуда бы они ни поступали.

– И что же дальше? Может ли помочь ответить на этот вопрос российская история? Если все будет, как было, то впереди у нас, получается, новая милитаризация?

– Думаю, что милитаризаций петровско-сталинского типа больше не будет. Потому что в современном мире они нефункциональны. Задачи модернизации, в том числе и технологической, с их помощью уже нерешаемы. А чтобы решать их, как раз и полезно осознать их принципиальную – в масштабе всей российской истории – новизну.

К сожалению, сегодня мы видим другое. Мы наблюдаем судорожные попытки властей – причем не только светских, но и церковных – уцепиться за традицию, предписывающую верховенство силы над правом, с сопутствующей милитаристской риторикой. Эти попытки опереться на инерцию прошлого сродни желанию опереться на пустоту, воспринимаемую как твердая и надежная историческая почва. И потому сопровождаются они такой степенью деградации властвующих и привластных групп, каковой в России еще не наблюдалось. Ханна Арендт в свое время назвала эту последнюю стадию политического и морального разложения *утратой лицемерия*, которое, по известному выражению, есть дань, которую порок платит добродетели. Сегодня нам демонстрируют порок, ничем не прикрытый, порок как норму существования.

Мы живем в эпоху затухания российской цикличности милитаризаций-демилитаризаций, что было наглядно явлено распадом в мирное время сверхдержавной военной империи. Но оно, затухание это, плохо осознается. А плохо осознается, быть может, еще и потому, что в продолжающуюся сегодня постсталинскую эпоху воспроизводится послепетровская цикличность реформ-контрреформ, «оттепелей»-«подмораживаний», характерная для демилитаризаторских циклов.

Исторические аналоги того, что происходит на наших глазах, можно при желании отыскать во времена того же Павла I или Николая I. В те времена самодержавная система пробовала укреплять свою консолидирующую и стимулирующую развитие субъектность принудительным дисциплинированием элиты и возведением, по выражению графа Уварова, «умственных плотин». Плотины призваны преградить проникновение в страну европейских идей. Но стратегически ведь и тогда эти «подмораживания» оказались несостоятельными – почему же они могут стать спасительными при нынешних, несопоставимо более сложных обстоятельствах?

Страна подошла к той точке, когда альтернативы добровольно-контрактному типу социальности и правовому государству у нее нет. Альтернатива ему – деградация на всех уровнях. А чтобы понять это, нужно соответствующее не только политическое, но и историческое сознание, соотносящее прошлое и настоящее с образом желаемого и возможного будущего.

– Это вы о ком? О власти?

– Это я об обществе. Ему предстоит вместо прежнего утопического идеала одной на всех правды, уже, похоже, изжитого, обрести до сих пор отсутствующее у него невоенное понятие об общем интересе. Интересе, не подавляющем многообразие интересов частных и групповых, а позволяющем им мирно сосуществовать и конкурировать, но именно потому не могущем быть кем-то монопольно представленным. Или не обрести, но тогда...

– Спасибо!

ОТ «ГОСУДАРСТВА-АРМИИ» ДО «ГОСУДАРСТВА-РЫНКА»

– Мы у себя на «Гэфтер.ру» говорили недавно о реинкарнации концептов 1980-х годов, идей времен перестройки...¹

– Да, я в курсе.

– И как вы оцениваете итоги дискуссии?

– Мне было бы интереснее побеседовать не о «реинкарнации» перестроечных идей, а о том, почему они воплотились в то, во что воплотились. Есть ли связь между ними и той политической реальностью, которая существует в России сегодня? Надеюсь, что в ходе беседы мы к этому вернемся. Но начать можно и с «реинкарнации».

Если говорить о власти – а перестройка была инициирована все же властью, – то возрождать горбачевский лозунг «Больше социализма!» в Кремле вроде бы не собираются. Теперь оттуда исходит призыв «Больше патриотизма!». Между ними есть различие: первый – реформаторский, второй – «подмороживающий»; первый предполагал ослабление диктата власти над населением, второй означает его усиление. И есть сходство: оба они утопические, оба апеллируют к прошлому и импульса развития не содержат. Что касается общества, то преемственность, хотя и не осознанная, с горбачевскими временами есть: в нем мы наблюдаем примерно тот же набор политических идей, что и в 1980-е...

– Давайте поговорим об этих идеях. Михаил Геллер писал в перестроечные годы, что бессмыслен лозунг «Больше социализма!» в обществе, которое не знает, социалистично оно или нет. Почему в 1985–1991 годах постоянно вставал вопрос о «реальности» советской практики? Больше того, появилась довольно экзотическая для западного слуха формула «реальность реальности» вместе с дискуссией о том, «насколько реальна наша реальность». Чем бы вы это объяснили?

– Чтобы тогда дискутировали на таком языке, что-то не припомню. Это сегодняшний язык, пытающийся преодолеть отсутствие языка для описания и понимания постсоветской экономической и политической жизни. А что было в то время? В то время спор шел о том, правомерно ли советский обществен-

1 Вопросы задавали Ирина Чечель и Александр Марков. Опубликовано в журнале «Гэфтер.ру» 4 февраля 2013 года.

ный строй называть «реальным социализмом», как стал он именоваться в брежневскую эпоху. Интеллигенты-шестидесятники полагали, что он хоть и «реальный», но никакой не социализм вообще, так как идеалам Маркса и Ленина не соответствует. Несколько лет ушло на споры по поводу адекватного термина, пока сознание не адаптировалось к «тоталитаризму», поначалу вызывавшему настороженность. Но Горбачев заходить так далеко в ломке официального языка позволить себе не мог.

Инициатор перестройки соглашался с тем, что «реальный» социализм исходному замыслу не соответствует и что в этом смысле он не совсем реальный. В том смысле, что идея социализма реализована в нем не полностью, а лишь частично и с большими искажениями. Поэтому надо сделать реальной саму эту первоначальную идею, надо вернуться к Марксу и Ленину. Отсюда и «Больше социализма!». Он есть, он состоялся, однако был деформирован, и задача в том, чтобы вернуть ему его собственную форму, наполнив ее и изначально присущим ему содержанием.

Все это сегодня может вызвать снисходительную улыбку, да и тогда от Горбачева многие его бывшие сторонники постепенно отходили. Но, вообще-то, он действовал в логике, соответствующей природе любой реформации, – Лютер тоже ведь апеллировал к исходным библейско-евангельским текстам. Другое дело, что не все основополагающие идеологические тексты содержат в себе реформаторский потенциал.

– Был ведь еще и замечательный тезис об исторических «преимуществах социализма» относительно капитализма...

– Это из доперестроечного словаря: «Соединить достижения научно-технической революции с преимуществами социалистической системы хозяйства», как говаривал Леонид Ильич. Горбачев от таких словесных конструкций отходил. Он вообще перестал жестко противопоставлять две общественные системы, отказавшись распространять на их отношения идею классовой борьбы и заявив о наличии объединяющих их «общечеловеческих ценностей». Но при этом продолжал настаивать на том, что социализм остается (и будет оставаться впредь) исторической *альтернативой* капитализму.

Многим, очень многим отличался он от предшествовавших советских лидеров, но в данном отношении сохранял с ними преемственную связь. А от досоветских и постсоветских руководителей он с этой точки зрения отличался тем, что альтернативность видел именно в социализме. Когда Путин говорит сегодня о России как о «государстве-цивилизации» или даже как об «уникальной цивилизации», то это ведь в той же логике самодостаточной альтернативы, только не капитализму, а Западу.

Кстати, не устаю удивляться, слыша разговоры о том, что Горбачев, а вслед за ним Ельцин насаждали в стране западные политические институты. Неужели можно считать таковыми съезды народных депутатов СССР и РСФСР? Какое-

то время назад я присутствовал на конференции, где выступал Вадим Медведев, бывший член горбачевского политбюро. И он признался, что поначалу не понимал, как вписываются такие съезды, наделяемые огромными полномочиями, в политическую теорию и практику демократических стран. Есть, мол, парламентские республики, есть президентские, а тут что-то такое невиданное. Но Михаил Сергеевич его убедил, что это возрождение раннесоветской традиции съездов Советов и тем самым возвращение к исходному социалистическому замыслу.

Я не собираюсь сейчас оценивать сделанный тогда выбор и предаваться задним числом бессмысленным рассуждениям о том, мог ли он быть другим. Но если мы хотим разобраться в том, почему пришли туда, куда пришли, то давайте осмыслим, или, точнее, переосмыслим, первые шаги по этому пути. Переосмыслим то, в чем сами участвовали, в большей или меньшей степени разделяя иллюзии и заблуждения времени, отдадим себе отчет в собственных самообманах. Это я не кому-то, а себе прежде всего говорю. Ну и еще тем, кто видит корень всех бед в искусственном насаждении в стране западных политических институтов. Не было этого, а был выбор особого пути к особой цели. Такие институты не насаждались ни при Горбачеве, ни при Ельцине: Конституция 1993 года, узаконившая в стране систему политической монополии, аналогов в западном мире не имеет.

– Вы сказали, что нынешняя власть возрождать перестроечные идеи не будет, а возрождать их в обществе, как мы поняли, нет необходимости. Просто потому, что они никуда не исчезли. Так?

– В какой-то мере они присутствуют и в дискурсе власти. Хотя и в других комбинациях и с другой расстановкой акцентов...

– Сейчас вроде бы от нее ничего сопоставимого с идеологией «социализма с человеческим лицом» не исходит.

– От Кремля не исходит, но у него есть помощники в виде как бы оппозиции, работающие на этом идеологическом поле. Почитайте хотя бы программу «Справедливой России».

А преемственность с этой идеей в обществе просматривается еще отчетливее. Снова обращаю ваше внимание на то, что не только Горбачев, но и более радикальные, чем он, интеллигенты-шестидесятники апеллировали к прошлому. А именно – к представлениям о социализме Маркса и Ленина и раннесоветской политической практике, противопоставлявшейся сталинской. И этот идеологический дискурс, восходящий к доперестроечным еще временам, к «Новому миру» Твардовского, никуда не делся и сегодня, им по-прежнему руководствуются представители левой оппозиционной интеллигенции и левые политические группировки.

К прошлому апеллировали и сторонники другой тогдашней идеи – импер-

ско-державнической, причем не только в ее откровенной или завуалированной сталинистской версии, но и в версии православно-почвеннической, вдохновлявшейся прошлым досоветским, докоммунистическим. Обе они в той или иной степени были сращены с русским национализмом, хотя, как правило, и не афишировавшимися. Власть, понятно, звучание первой версии приглушала, а вторую не акцентировала, но я все же напомним о санкционированном ею громком праздновании тысячелетия крещения Руси. Ну а теперь мы наблюдаем широкое распространение этой идеи в самых разных ее проявлениях. В том числе и в такой комбинации советскости и почвенничества, как у православного коммуниста Геннадия Зюганова и его сторонников. Или – в не столь явном виде – у бывшего чекиста Владимира Путина и его приверженцев, причем опять же не только во властных структурах, но и в обществе. Но и эти гибриды не сегодня ведь родились. Если вспомнить идеологический пафос таких журналов, как «Наш современник» и «Молодая гвардия», причем не только в перестроечный, но и в доперестроечный период, то там неприятие коммунизма и идея возвращения к «почве» всегда сочетались с установкой на сохранение достигнутого Советским Союзом военно-державного статуса.

А третья идея была европейской, западнической. И она тоже присутствовала не только в обществе, но и в коридорах власти, что проявлялось не только в публичной риторике, но и в практической политике. В отмене цензуры, освобождении политзаключенных, альтернативных выборах, использовании парламентских процедур. Но все это дозированное западничество официально таковым не провозглашалось, а провозглашалось органикой социализма, утверждением его подлинной природы, в предыдущие периоды искаженной. А более последовательное западничество, идущее из общества, поначалу, пока были силы, властями жестко отсекалось, как отсекается и сегодня. С той лишь разницей, что в перестроечные времена оно отсекалось во имя социалистической альтернативы капитализму, а сейчас – во имя патриотизма и ценностей «уникальной цивилизации», которые уже не получается даже внятно сформулировать.

– Что все же шло из общества? Как выглядела в нем европейская идея?

– Не очень выразительно она в нем выглядела. Ведь она, повторяю, ассоциировалась тогда с западным капитализмом, что широкого отклика в стране не находило. В том числе и среди доминировавших тогда в публичном пространстве групп интеллигенции. Ведь даже пример Швеции и других скандинавских стран, на который тогда любили ссылаться, преподносился как пример «правильного», «настоящего» социализма.

Какие-то импульсы, свидетельствующие об осознанной европейско-капиталистической ориентации, шли разве что из среды «неформалов» и вышедших на свободу диссидентов. Можно вспомнить и «Демократический союз» Ва-

лерии Новодворской. Но движение в этом направлении властями, как я уже тоже говорил, блокировалось. Напомню, кстати, что Лариса Пияшева, опубликовавшая в «Новом мире» нашумевшую статью «Где пышнее пироги?», сочла для себя целесообразным укрыться за псевдонимом. А это, между прочим, уже середина 1987 года. Статья была, напомню, о преимуществах западной свободной экономики перед социалистической в любых ее формах.

Правда, в последние перестроечные годы под влиянием углублявшегося экономического кризиса и политической борьбы между союзным центром и объявившей о своем суверенитете Российской Федерацией идеологическая атмосфера стала меняться. Идея рынка, освобожденная от идеи социализма, стала выдвигаться в ельцинском окружении и поддерживавших его общественных группах на передний план. А слово «демократия» – в перестроечном словаре тоже ключевое – приобрело у оппонентов Горбачева антикоммунистический смысл. Но ни с одной из трех идей, мной названных, все это не соотносилось, а как бы над ними надстраивалось. В том числе и над идеей европейской, которая за все время перестройки не только доминирующей, но и сколько-нибудь влиятельной так и не стала.

Да, многие тогда говорили о «возвращении в цивилизацию», имея в виду цивилизацию европейскую. Но какое конкретное институциональное содержание вкладывалось в эту еще одну апелляцию к прошлому, понять было трудно. Вопросом о том, как такое «возвращение» соотносится с теми же съездами народных депутатов, никто или почти никто не задавался. И вопросом о том, когда именно была в стране европейская цивилизация и в чем именно проявлялась ее европейскость, не задавался тоже. А спустя некоторое время партия «Выбор России», возглавлявшаяся рыночным реформатором Егором Гайдаром, пойдет на парламентские выборы с изображением на своей эмблеме памятника Петру I. Другого символа европейскости ее приверженцам обнаружить в отечественной истории, очевидно, не удалось.

Так что, когда говорят о «реинкарнации» политических идей перестройки, о новом их воплощении, я не очень понимаю, что именно имеется в виду. Целесообразнее, по-моему, говорить о том, чего им не хватало, в чем была их слабость. О том, почему они воплотились именно в то, во что воплотились, и о том, могли ли воплотиться в нечто иное. Учитывая, что все они апеллировали не к западному политическому опыту в его системном качестве, а к отечественному прошлому, к особенностям исторически сложившихся в нем представлений о целях и путях развития.

Из западного опыта заимствовались лишь отдельные элементы, которые интегрировались в инородную им государственную традицию. Да, иногда заимствовали с перебором, и традиция не выдерживала, но потом лишнее отсекалось. И к нынешней исторической точке пришли не потому, что где-то свернули с пути, а потому, что в самом его начале вознамерились сочетать несочетаемое.

– Но в конце 1980-х обозначился вектор эволюции, казалось бы, никаких откатов не суливший. Интересно упомянутое вами переосмысление представлений о демократии. В начале перестройки многие были уверены, что демократия и социализм тождественны...

– Да, Горбачев так и говорил: «Больше социализма, больше демократии!» Для него и не только для него это было одно и то же.

– Кажется, в какой-то из записок в ЦК КПСС была даже фраза о том, что «именно в социализме демократия используется и как средство, и как цель одновременно».

– Вполне возможно, это было в русле официальной перестроечной идеологии. Но демократия, как вы, наверное, помните, считалась совместимой с закрепленной в советской Конституции, ее шестой статье, политической монополией коммунистической партии. Пафос отмены этой статьи и консолидировал тогдашнее протестное движение, обретавшее отчетливо выраженную антикоммунистическую направленность.

– То есть постепенно все же первоначальное толкование демократии, как демократии советской – не у всех, кстати, одинаковое, – стало успешно оспариваться с позиции демократии либеральной. Как и почему произошел этот поворот?

– Да не было же его, поворота к либеральной демократии! А что было? Было перерастание обществом горбачевской идеи «социалистического плюрализма», исключавшей из публичной дискуссии все, что покушалось на устои советского строя. А именно все, что касалось трансформации социалистической экономики в рыночно-капиталистическую и покушений на политическую монополию КПСС. Но постепенно выяснялось, что улучшением жизни перестройка не сопровождается, что проблемы не решаются, а усугубляются. Естественно, что разбуженное общество не могло на это не реагировать и стало прорывать очерченные для него границы плюрализма. Его можно было остановить только силой, но это символизировало бы в глазах страны и мира крах самой перестройки.

Так произошел поворот, о котором вы говорите. Сильным стимулом для него стало и падение Берлинской стены, сопровождавшееся демонтажом социализма в странах Восточной Европы. Но был ли то поворот к либеральной демократии?

Нет, таковым он не был. Слово «либерализм», насколько помню, в публичном политическом дискурсе времен перестройки не фигурировало вообще, а если иногда и использовалось, то лишь применительно к экономике. Социалистической демократии была противопоставлена не либеральная демократия, а демократия без сопроводительных прилагательных. Но каким смыслом она наполнялась?

Противоборство «демократов» и «коммунистов», которым отмечен последний период перестройки, ничего либерально-демократического, повторю, в себе не несло. Демократия вместе с рынком выступала лишь оборотной стороной антикоммунизма, позволявшей ему выглядеть позитивным политическим идеалом. Она выступала в роли некоего абстрактного Должного, присутствующего всем утопиям, что позволяет им не обнаруживать свое реальное содержание. Со временем, правда, оно обнаруживается в том, что Гегель назвал «иронией истории»: это когда люди действуют во имя какой-то высокой цели, а результатом их действий становится нечто совсем другое. Но такова судьба всех абстрактных целей-утопий. Что такое либеральная демократия? Это, как известно, демократия конституционно-правовая. Но кто в ту пору думал о праве? Кто считал правовое государство целью преобразований?

Люди думали о том, у кого следует отобрать власть и кому ее передать, а не о том, в соответствии с какими институционально-правовыми принципами она должна быть устроена. О каком повороте к либеральной демократии можно вести речь, если и после распада СССР в России был сохранен съезд народных депутатов? Все это я и имею в виду, когда говорю, что европейская политическая идея не только во власти, но и в российском обществе в годы перестройки корней не пустила, как не пустила их и потом.

– Ключевое слово в словаре перестройки – «норма», главный ориентир – «нормальная страна». Причем нормативность далеко не всеми понималась как «возвращение к ленинским нормам», многие вкладывали в нее как раз европейский, западный смысл. Довольно быстро возник и такой поворот: там, на Западе, – «норма», а у нас в СССР сплошь «патологии». В исторической монографии Кэтлин Смит остроумно описана эта вдруг вспыхнувшая в советском обществе тяга изъясняться медикалистским языком. Общество «изболелось», у него «незаживающие раны», «так жить нельзя», «метастазы» застоя нестерпимы. Правда, потом, в конце 1990-х, этот дискурс быстро перестает играть первую скрипку, но в последнее время он появляется снова. Что вы об этом думаете?

– Я думаю, то было томление по иной жизни, выраженное опять же в абстрактной идеальной форме. Мы больны, у нас «патология», а у них «норма». И хорошо бы и нам излечиться, стать как они. Но при этом никакого представления о потребных для того лекарствах, то есть государственных институтах, обеспечивающих «нормальность», не было. То не было, говоря иначе, представлением о норме в ее *правовом* измерении.

Такое представление не сложилось и после того, как в конце 1980-х власти объявили курс на создание «социалистического правового государства». В стране уже началось реальное политическое противоборство «коммунистов» и «демократов», и курс этот не без оснований воспринимался как попытка сохранить гегемонию компартии посредством текущего законодательства, ограничиваю-

щего политические возможности ее оппонентов. Однако к тому времени, если память мне не изменяет, и язык, о котором у нас речь, был уже этой борьбой вытеснен, то есть гораздо раньше, чем вы говорите. Притом что и ее цели, как я уже говорил, тоже выражались и воспринимались предельно абстрактно.

Не способствовали возрождению этого языка и последовавшие затем рыночные реформы. Наоборот, многие стали склоняться к мысли, что зря погнались за чужой «нормой», она оказалась для нас непригодной, не задумываясь о том, что «норма» эта соединялась с тем, что как раз и превращало ее в новую «патологию». Ну а если сейчас этот язык возрождается, то, значит, мы просто ходим по кругу.

– Но был еще и другой язык – так сказать, метафизический. Он-то откуда брался?

– Поясните, о чем вы.

– Вот, скажем, Александр Яковлев в 1986 году пишет, что не может подобрать термин, который точно охарактеризовал бы советскую систему. Это, мол, нечто вроде каинизма и Иудина греха. Недурственные термины в устах политика? Или вот речь Горбачева: «К рынку – с чистой совестью!» Или официальные призывы к «покаянию»... Кстати, и ваше прогремевшее заглавие «Какая улица ведет к храму?» – тоже пример метафизической речи. Откуда это все вдруг?

– Ну, насчет метафизичности – в смысле устремленности к трансцендентному – я не уверен. Метафизичность – это когда о «загадочной русской душе». Или о «народе-богоносце». Или о мистической сущности отечественной государственности... Но люди, так или иначе причастные к перестройке, на таком языке не изъяснялись. Это державно-имперско-почвеннический дискурс, и он до сих пор живет и здравствует.

А то, о чем вы говорите, – оценочный язык морали в его приложении к политике с заимствованиями из религиозных текстов и практик. Когда дело касается исторически изжившей себя реальности, он, по-моему, вполне уместен. Этическое начало доминировало в диссидентском движении, жить не по лжи призывал Солженицын. Однако такой язык в речах и статьях политиков-реформаторов может свидетельствовать и о другом. Он может свидетельствовать о затруднительности для них рационально описать и то, что подлежит реформированию, и то, чем его предстоит заменить. Или, говоря иначе, об отсутствии у них собственно политического проекта. Горбачевская перестройка изначально и была такой перестройкой без проекта.

Понятно, что по мере ее развертывания и нарастания непредвиденных проблем и конфликтов язык моральных оценок и идеалов все меньше способен был этот дефицит проектности компенсировать. И он постепенно из публично-пространства уходил. Однако заменить его было нечем.

– Проекта не было, но он мог быть?

– Я в этом сомневаюсь. Коммунистическая система могла быть или радикально преобразована в другую, как в странах Восточной Европы и Балтии, или рухнуть под воздействием отторгаемого организмом инъекций, не оставив достаточных предпосылок для такого преобразования и после обрушения. Горбачев, повязанный своими первоначальными обещаниями и ослабленный впоследствии натиском политических оппонентов, по первому пути пойти не мог, даже если бы очень хотел. Он начал перестраивать систему, которую нельзя было не перестраивать, но нельзя было и перестроить. Если бы он это точно знал, то ничего бы не начинал. Но он не знал, как не знала и страна. Историческая миссия реформаторов неререформируемых систем – прояснять для себя и других то, что без опыта неудач прояснить невозможно.

А все это я к тому, что отсутствие политического проекта преобразований в его институционально-правовых параметрах – первый симптом того, что получится совсем не то, что хочется и ожидается. Язык моральных оценок и идеалов – это тоже язык утопий, которые в ходе политической реализации окарикатуриваются до неузнаваемости. Как и упомянутый мной раньше язык абстракций вроде «демократии и рынка». Поэтому когда я слышу сегодня призывы разобраться с «преступной приватизацией» (разумеется, по справедливости) или установить в стране «антикриминальную диктатуру», то понимаю, что более чем четвертьвековой опыт не всем пока пошел впрок.

О том, каким должны быть государство и его институты, чтобы пересмотр приватизации не обернулся очередным беспределом, а «антикриминальная диктатура» – тотальным произволом, думать почему-то неинтересно. Я не о том говорю, что вопрос об итогах приватизации надо закрыть навсегда или что с криминалом и коррупцией, во избежание худшего, следует примириться. Я о том, что апелляция к нравственному чувству сама по себе к излечению социальных недугов не ведет, а его возбуждение может их в конечном счете еще и усугубить. Вспомним хотя бы перестроечный моральный пафос «борьбы с привилегиями», в котором была утоплена идея системных изменений, подмененная идеей смены властвующих персон.

В свое время еще Лев Тихомиров – известный монархист, а до того революционер – писал об удивительной российской беззаботности насчет того, как должна быть устроена государственная власть. И эта беззаботность, похоже, все еще с нами. Наше сознание по-прежнему сосредоточено на том, кому эта власть должна принадлежать и что она обязана делать либо переделать, при сознательном либо неосознанном допущении, что ее институциональное устройство существенной роли при этом не играет.

– А что же общество? В нем-то существовал запрос на проектность? Бжезинский на одной из перестроечных дискуссий артистично сокру-

шался: вместо того, чтобы обсуждать стратегию модернизации, русские часами спорят о советской истории!

– Я тоже вспоминаю, как в 1988-м в составе большой группы соотечественников был на конференции в Болгарии. И болгарские коллеги безуспешно пытались увести нас от разговоров о сталинизме и о том, были ли ему альтернативы. Люди готовы обсуждать лишь то, к чему готовы. Откуда ему было взяться, проектному мышлению?

Но еще интереснее, что его и сейчас нет. Что-то такое существенное уловил, наверное, Лев Тихомиров в нашем менталитете. В нем, с одной стороны, предрасположенность к утопиям, а с другой – негативная реакция на утопизм, проявляющаяся в отторжении проектности как таковой. Надо, мол, идти от жизни, хватит навязывать ей чуждые ей умозрительные схемы. Но что значит «идти от жизни» и куда именно от нее идти, желающих объяснить не находится.

– Может быть, если отмотать пленку назад к перестройке, в том была повинна и власть? Вычерченного проекта у нее не было, но при этом и импульсы, шедшие из общества, ею гасились. Высоко оценивался курс на перестройку только в ее понимании руководством страны, а все сомневающиеся в нем причислялись к «антиперестроечным силам». Помните, как обрушилась газета «Правда» – официальный орган ЦК – на статью Нины Андреевой?

– Нина Андреева призывала вернуться назад, противопоставив перестройке советские ценности в их прежнем толковании. Альтернативного же реформаторского проекта в обществе не было. Об этом сегодня открыто говорят некоторые лидеры бывшей Межрегиональной депутатской группы, объявившей себя тогда оппозицией. А у тех, кто вдохновился идеей «демократии и рынка» и пошел за Ельциным, он был? Я имею в виду не призывы сторонников европейской идеи, на ранних стадиях перестройки от политики отсекавшихся, а потом выступивших в поддержку поощрявшего их нового российского руководства, сделать «все, как на Западе». Я имею в виду институциональный проект государственного устройства. На этот вопрос много лет спустя исчерпывающе ответил Олег Басилашвили: «Свою задачу мы видели в том, чтобы привести к власти Бориса Николаевича. И мы ее решили».

Это вообще очень интересная тема – российские реформы и российское общество. Александр Корнилов в своем «Курсе истории России XIX века» пишет о том, как после восшествия на престол Александра II общество, будучи настроенным на перемены, очень плохо представляло себе, что и как нужно делать. Оно связывало свои надежды с новым императором, но ни самостоятельности, ни инициативы при этом не проявило, заявки на обеспечение его собственных прав в управлении государством от него не поступало. Но и раньше, после воцарения Александра I, замечает Корнилов, эмоционально-психологическое состояние общества было таким же: всеобщее воодушевление начав-

шейся либерализацией, все ждут реформ, но каких именно, толком не знают, уповая исключительно на царя. Но разве после прихода к власти Горбачева не наблюдали мы примерно то же самое?

– Однако было же и солженицынское «Как нам обустроить Россию», был текст сахаровской конституции. Это же альтернативные проекты нового государственного устройства, разве не так?

– Очень хорошо, что вы об этом вспомнили. Это позволяет нам вернуться к вопросу о «реинкарнации» идей той поры. Точнее, даже не идей, а определенного типа публичного поведения, который в последующие годы воспроизведен не был. Несколько лет назад мне довелось участвовать в очередном Сахаровском форуме. И там одна из панелей как раз была посвящена упомянутому вами проекту конституции. Выступали известные юристы, говорили о достоинствах проекта и его недостатках, отмечали, что во многих отношениях он устарел. Я в своем выступлении попытался перевести разговор в другую плоскость, однако в этом не преуспел.

Вряд ли, говорил я, целесообразно анализировать плюсы и минусы текста Андрея Дмитриевича. Он писался во времена Советского Союза и применительно к нему же, к социалистическому Советскому Союзу. Гораздо важнее, что Сахаров этот проект считал нужным разработать и предъявить обществу, продемонстрировав тем самым понимание той роли, которую играет конституция в установлении правовой государственности. Поэтому и нам полезнее было бы обсудить вопрос о том, насколько соответствует принципам такой государственности Конституция действующая. И если не соответствует (а многие уже признают, что не соответствует), подумать о том, почему следовать примеру Андрея Дмитриевича – я имею в виду политиков, которые претендуют на роль оппозиционных, – желаящих не наблюдается. Ни среди сторонников европейской идеи, ряды которых в последнее время расширились, в частности, за счет национал-демократов, отделившихся от национал-империалистов, ни среди приверженцев других политических идей. Идей, ни одна из которых за время, прошедшее после перестройки, институционально-правовым содержанием так и не наполнилась.

– Возможно, политические лидеры не ощущают спроса на такого рода конституционные проекты? Кстати, и проекты Сахарова и Солженицына тоже ведь не нашли тогда заинтересованного отклика, причем не только во власти, но и в обществе. Всерьез они не обсуждались, да и рассматривали их не столько как политические, сколько опять же как нравственные проекты...

– Сейчас общество – я имею в виду его образованный класс – уже немного другое. В 1980-е годы оно видело цель не столько в изменении типа государственного устройства, сколько в смене властевладельцев. И даже когда оно во-

одушевилось мыслью об отмене шестой статьи советской Конституции, им двигало прежде всего желание устранить действующую власть. Разница между сменой власти и институционально-правовой трансформацией государства сознанием людей не фиксировалось, первое отождествлялось со вторым, а потому и проекты, вами упомянутые, большого интереса у них не вызвали.

А теперь вспомните, что происходило после 4 декабря 2011 года. Чем сопровождалась поднявшаяся митинговая волна? Она сопровождалась тем, что одним из основных в СМИ и интернете стал вопрос о конституционной реформе. И то была не «реинкорнация» перестроечных идей, а идея, для российского общества *новая*. Да, потом вопрос этот широкую аудиторию волновать перестал, но вряд ли можно сомневаться в том, что в случае политического кризиса он будет актуализирован снова. Какая-то часть общества уже понимает разницу между сменой властвладельцев и изменением типа государства. Но каким оно, государство, может и должно в России быть?

Казалось бы, политикам самое время предлагать свои проекты. С тем, чтобы общество узнало, чем отличаются они друг от друга именно в представлениях о желательной государственной системе. Но сегодня в этом отношении все столь же туманно, как и во времена перестройки. И потому я бы предложил говорить не о возрождении и новом воплощении идей тех времен, а о том, что каждую из них хорошо бы довести до политического проекта, до проекта государственного устройства. Иначе мы так и будем пребывать в неведении относительно того, кто из политиков хотел бы видеть в стране политическую систему с царем, кто – с вождем, кто – правовую систему американского типа, кто – немецкого, кто – сингапурского или какую-то еще, в мире не опробованную, а кого вполне устраивает и та, что есть. А будь это все предьявлено, тот же вопрос об утопическом и «жизненном», обсуждаемый на абстрактном языке политической философии, мог бы обрести более конкретные, чем сегодня, очертания.

Все идеи времен перестройки, повторю еще раз, благополучно дожили до наших дней, расслоившись на множество оттенков. Но проектного качества ни одна из них до сих пор не обрела. Поэтому и никакой системной альтернативы нынешнему кремлевскому режиму до сих пор не просматривается. И пока это так, трудно освободиться от ощущения, что мы и сегодня, как четверть века назад, наблюдаем не конкуренцию государственных проектов, а противостояние властвладельцев и претендентов на их место в сложившейся политической системе.

– Вы не любите рассуждать о нереализованных прошлых альтернативах. Но вот недавно Александр Ципко в интервью нашему журналу упрекнул Горбачева в том, что СССР не использовал китайский вариант преобразований. Александр Сергеевич, будучи работником ЦК, этот вариант, означавший сохранение «руководящей роли КПСС», предлагал.

Его версия: достаточно было обойтись демократизацией партии, не распространяя эту демократизацию на все общество. Чем не альтернативный проект?

– Не припомню что-то, чтобы Александр Сергеевич такие мысли публично высказывал. Но слышать их мне в то время приходилось – например, от Всеволода Михайловича Вильчека. И я ему говорил, что не очень-то представляю себя такой двадцатимиллионный демократический оазис, живущий по иным, чем остальная страна, нормам. Не укладывалось у меня в голове, что на выборах в парткомы всех уровней будет свободная конкуренция, а на всех прочих выборах люди будут по-прежнему единодушно голосовать за предписанного им единственного кандидата от «нерушимого блока коммунистов и беспартийных». Ведь неспроста же и китайцы этим путем не пошли.

Но и буквальное повторение их маршрута тоже выглядело сомнительным. Непонятно было, как маршрут этот, адекватный («жизненный») для крестьянского Китая с крайне низким уровнем жизни и отсутствием государственной социальной защиты населения, возможен в условиях урбанизированного Советского Союза. В условиях страны со сложившейся системой пенсий и пособий, с одной стороны, и вытравленной колхозным строем традицией индивидуально-семейного хозяйствования на земле – с другой.

Все это можно было бы обсуждать, если хотя бы задним числом было показано, что следовало делать монополю правившей партии в экономике. И еще было бы сказано о том, до какого момента КПСС способна была проводить инициативную реформаторскую политику, если была способна вообще. Сдается мне, что уже где-то со второй половины 1987 года она не могла ничего, почему Горбачев и пошел на реформу политической системы.

– Ципко считает, что и в 1990-м было можно.

– К 1990-му система «руководящей роли» была уже полностью демонтирована, поддерживаясь лишь силой инерции. По-моему, китайский «проект» в СССР, да еще с демократизированной, в отличие от Китая, компартией, – ретроспективная утопия.

– В преддверии нашей встречи мы попросили вас посмотреть это интервью. В нем много чего и в ваш адрес не очень лестного сказано. Не хотите поспорить?

– Там столько фактических неточностей и смысловых натяжек, что отвечать пришлось бы слишком долго. Не думаю, что сегодня это кому-то может быть интересно. А по существу я ответил Александру Сергеевичу еще в 1989 году в большой статье «Еще раз об истоках сталинизма», персонально ему посвященной. И мяч до сих пор на его стороне: то, что он говорит сегодня, это буквальное воспроизведение его суждений, мной тогда детально разобранных. Как будто той полемики и не было вовсе.

О чем шел спор? Спор шел о причинах утверждения коммунистического режима в России. Мой оппонент полагал, что главная причина – в марксистской идее. Я же считал и считаю, что если идея была воспринята и претворена в жизнь именно в России, а в других странах (в том числе и на родине этой идеи) существенного влияния на ход истории не оказала, то и причину следует искать не в идее, а в особенностях соблазненной ею страны. На что и обратил внимание Александра Сергеевича в упомянутой статье, равно как и на некоторые особо оригинальные пассажи в его рассуждениях.

Он же тоже не мог обойти широко обсуждавшийся тогда вопрос о том, почему марксизм одержал идеологическую победу не на Западе, как предусматривалось основоположниками учения, а в нашем отечестве. И отвечал новаторски, на уровне философского открытия. На Западе, мол, к XX веку уже вывели «все объективные и субъективные предпосылки для перехода к тому социализму, о которых писал Маркс», но переход этот там не произошел. Между тем в России предпосылки эти находились «в состоянии молочного-восковой спелости», однако марксистская идея ее тем не менее одолела. Но раз так, то в России, следовательно, наличествовало нечто такое, что превышало совокупную силу объективного и субъективного. Что же это такое было?

Это, разъяснял мой оппонент, российское «низкопоклонство перед будущим» при «презрении к настоящему», российская предрасположенность к «объятиям с романтической мечтой». Ну вот я и спрашивал, каким образом этот феномен, который не объективный и не субъективный, но сильнее их, вместе взятых, возник именно в данной отдельно взятой стране и какова его социальная и культурная природа. И еще спрашивал о том, можно ли при наличии такого уникального феномена, восприимчивого к марксистской идее, считать главным «источком сталинизма» все же марксизм, а не этот загадочный феномен. Ответов, к сожалению, пока не получил.

– Но это интервью возвращает нас к началу сегодняшней беседы. В нем идет речь о том, что в ходе перестройки следовало вместо возвращения к «подлинному марксизму» осуществить «цивилизационную реставрацию», то есть вернуться к ценностям и институтам добольшевистской России, обеспечивая преемственность именно с ней. Решиться при этом на то же, что сделали китайцы...

– О Китае вроде бы уже поговорили. К тому же там и марксизм с социализмом всегда были, как выражались коммунистические руководители этой страны, с «китайской спецификой».

– Да, но сейчас заходит речь еще и о том, что именно эта идея «цивилизационной реставрации», предлагавшаяся Горбачеву, была бы адекватной и для России сегодняшней. Идея, которая, например у Андрея Зубова, не противостоит идее европейской, а с ней соединяется.

– С Андреем Борисовичем Зубовым мне приходилось дискутировать об этом неоднократно. В том числе и в ходе недавнего обсуждения в «Либеральной Миссии» проекта конституции, подготовленного группой Михаила Александровича Краснова. Чем интересен предлагаемый Зубовым подход? Он интересен как раз тем, что в нем присутствует институционально-правовое содержание. Предлагается восстановить преемственную связь не со старой Россией вообще, а с теми государственными институтами, которые сложились и действовали в ней в 1906–1917 годах. Интересно и обоснование того, почему это следует сделать. Прежде всего ради придания российской государственности исторической легитимности, ныне отсутствующей. Мол, может быть или преемственность с досоветской Россией, или с Россией советской, или вообще не быть никакой, что и означает историческую нелегитимность самого государства.

Мне кажется, что такая постановка вопроса нуждается в дальнейшем обсуждении. Андрей Борисович берет за образец посткоммунистические страны Восточной Европы, где была восстановлена правовая преемственность с докоммунистическим периодом, включавшая и реституцию собственности, то есть возвращение ее бывшим владельцам. Я не знаю, можно ли это сделать сегодня в России, можно ли сделать легитимным само такое восстановление прежней законности во имя легитимности исторической.

– В Восточной Европе были все же национальные революции, там говорили о национальном освобождении, а у нас все время настаивали на том, что наша революция – только демократическая...

– Это тоже существенный момент, но есть и другие вопросы, еще более сложные.

Дело в том, что все происходившее в России начиная с отречения Николая II, было незаконным. Следовательно, предлагаемое восстановление исторической легитимности предполагает возвращение к институту императора. Далее, вопрос о том, насколько институциональная система бывшей думской монархии лучше и современнее нынешней российской системы. Ведь в этой монархии полномочия царя в отношении парламента были еще более значительными, чем у постсоветского президента. Царь назначал половину состава верхней палаты, а Государственная дума вообще не имела никаких прав в формировании правительства. В чем же тогда может и должна заключаться преемственность, если и сам Андрей Борисович конституционные полномочия президента считает чрезмерными и выступает за их ограничение?

Перед странами Восточной Европы и Балтии, где в предвоенный период имела место республиканская форма правления, такие вопросы не возникали. А там, где были монархии, преемственность с ними не декларировалась. И во Франции, кстати, республика, установленная после ликвидации монархии, не легитимировалась восстановлением преемственной связи с этой монархией.

Ну и, наконец, предлагаемый способ исторической легитимации означает изъятие из российской истории советского периода, превращение его из бывшего в небывший. И я опять-таки не знаю, насколько легитимной может стать сама такая легитимация.

Как бы то ни было, мы и в данном случае пока имеем дело с идеей, а не с конкретным институциональным проектом. И потому трудно судить о том, идет она «от жизни» или должна быть зачислена в разряд утопий. Тем более что сама эта жизнь в ее государственном измерении сегодня такова, каковой еще никогда в России не была...

– В каком отношении?

– Российские и зарубежные эксперты, как вы тоже, наверное, заметили, все чаще говорят о том, что «в России нет государства». Но если его нет, то что есть? Ведь все государственные институты – политическая, административная и судебная власть, армия, полиция, службы безопасности – формально наличествуют. В чем же тогда смысл тезиса об отсутствии государства? И значит ли это, что раньше оно было, а исчезло только теперь?

Да, исчезло оно лишь в последнее время. Но результат – это всегда завершение какого-то процесса. Что я в данном случае имею в виду?

В предыдущей беседе с вами...

– О «затухающей цикличности»?

– Именно. Я говорил, если помните, о том, что российская история представляет собой циклическое чередование милитаризаций и демилитаризаций жизненного уклада населения. Милитаризация – это когда управление обществом осуществляется как управление армией, что рельефнее всего проявилось при Петре I и Сталине. Демилитаризация – это когда к «государству-армии» дозированно подсоединяются неорганичные для него элементы правовой законности и индивидуальной экономической мотивации, что происходило в послепетровский и послесталинский периоды (особенно интенсивно как раз в интересующие нас времена перестройки).

Но такие демилитаризации всегда влекли за собой для «государства-армии» неразрешимую проблему. Общество, не знавшее иного понятия ни о государственном, ни об общественном интересе, кроме военного, начинало расссыпаться. Оно застревало в стратегически неустойчивом состоянии, когда прежние государственные устои размывались, а выход в правовое состояние не получался. Он не получался, так как блокировался и сохранявшимся остовом «государства-армии», и непримиримым противостоянием частных и групповых интересов, возникавшим при наложении на этот остов иноприродных ему элементов.

Так вот, если из тупиков послепетровской демилитаризации, прошедшей ряд этапов и растянувшейся почти на два столетия, большевики вывели Рос-

сию в новую разновидность «государства-армии», то послесталинская демилитаризация такой перспективы уже не открывала...

– И не открывает?

– И не открывает, сожалеть о чем, наверное, вряд ли стоит. У властей не было иного пути, кроме углубления демилитаризации, то есть все большего повышения статуса частных интересов, что вело к постепенной приватизации этими интересами самого государства и привело в конечном счете к беспрецедентному распаду военной сверхдержавы в мирное время. На ее защиту не мог быть брошен даже такой традиционный для России стимул государственной консолидации, как военная угроза: ведь общество в годы перестройки убедили в том, что на ядерную державу «никто нападать не собирается».

– Но были же в стране и сторонники идеи имперской державности, пытавшиеся эти процессы остановить. Почему у них не вышло ничего существенного?

– Потому что сама идея эта к тому времени выдохлась и мало кого воодушевляла. Перечитайте документы ГКЧП – их экономическое и политическое содержание, мягко говоря, не очень богатое. Упоминаний о коммунизме там уже не было, но и идеологической альтернативы ему не было тоже.

А после распада СССР демилитаризация, бывшая дозированной даже при Горбачеве, пошла так далеко, как никогда прежде. Вместе с переходом от плановой экономики к рыночной и возрождением института частной собственности (с сопутствующей приватизацией собственности государственной) происходил демонтаж и самого остова «государства-армии». Государства, устойчивость которого поддерживалась привилегированным хозяйственным статусом военно-промышленного комплекса и столь же привилегированным социальным статусом людей с погонами. И еще издавна присущим этому государству военным принципом служения, в советские времена именовавшегося «беззаветным».

Ну а в итоге демонтажа этих устоев случилось то, что не могло не случиться в ситуации, когда не было даже проекта иного государственного устройства, основанного на альтернативной «беззаветному служению» идее права. Случилась замена «государства-армии», где вместо закона приказ, «государством-рынком», где вместо закона нелегальная сделка. Или, говоря иначе, произошло превращение политиков и чиновников в бизнесменов, в теневых торговцев услугами, цены на которые определяются масштабом этих услуг и статусом продавца в политической либо бюрократической иерархии. Но это ведь и означало исчезновение государства, которое по самой природе своей не предназначено для игры на рынке, где конкурируют частные интересы и действует принцип личной выгоды.

Я не стану сейчас останавливаться на том, как это «государство-рынок» функционирует. Скажу лишь о том, что в лице своих представителей оно про-

дает свои услуги, будь то возможность воспользоваться каким-то узаконенным правом или получить право неузаконенное, не только тем, кто в это «государство» не входит. Оно представляет собой и рынок внутри самого себя, где конкурируют, борясь за монополию, ведомства и кланы, представители каждого из которых могут выступать и продавцами, и покупателями. И еще, наверное, надо отметить, что в «государстве» этом, наряду с куплей-продажей, можно обнаружить и более архаичное обогащение посредством грабежа, когда гражданская и силовая бюрократия действуют в союзе с криминальными структурами.

Вы скажете, возможно, что оно все же выполняет и определенные собственные государственные функции. Да, выполняет. Но делает это все хуже и хуже, потому что не они определяют его природу.

– Но это все же не замкнутая система. Она не мыслит себя вне глобального контекста, она является глобальным игроком.

– На внешних рынках она способна играть и по правилам. Советский Союз тоже их соблюдал. Но когда иностранный бизнес приходит в Россию, ему приходится считаться со здешними порядками. Кстати, на днях вот прочитал, что французский бизнес по этой причине в Россию не идет. А немецкий идет гораздо охотнее, он готов с «государством-рынком» сотрудничать. И не только, кстати, немецкий.

– И чего же можно ожидать в дальнейшем? Какую роль при таком положении вещей могут сыграть альтернативные институционально-правовые проекты, на отсутствие которых вы сетуете?

– Шансов воплотиться в жизнь у них, какими бы они ни были, сегодня нет. Они обречены быть политически нереалистичными. Но что сейчас реалистично? Любой из лозунгов, выдвигавшихся протестным движением, нереалистичен тоже. Как и сколько-нибудь серьезный успех оппозиционных партий на выборах любого уровня. Власть достаточно сильна, чтобы позволять себе быть неуступчивой. Но если так, то остается лишь перевод проблемы в стратегическое измерение, предполагающее преобразование «государства-рынка» в нечто системно иное.

Чем может быть это иное? Наверное, тем, о чем в перестроечные и последующие годы думали меньше всего. Я имею в виду правовое государство. Если кто-то из политиков считает, что это утопия, то что тогда не утопия? А если не считает, то придется ответить на простой вопрос: возможно ли такое государство при действующей Конституции, ставящей президента над всеми другими ветвями власти? Отдавая себе при этом ясный отчет в том, что ответ «да» будет означать всего лишь претензию на замену монополиста-властевладельца собственной персоной. То есть на очередное повторение неоднократно нами наблюдавшегося. Почаще бы, кстати, задавать такие вопросы нашим оппозици-

онным политикам. А то ведь так и непонятно, каковы их представления о желательном и возможном в России государственном устройстве.

Как бы то ни было, если трансформация «государства-рынка» в государство правовое признается стратегической целью, то за этим и должны следовать рисующие его образ конкретные проекты. Не призывы к созданию таких проектов, которых звучит предостаточно, а сами проекты. И тогда люди увидят, чем отличаются друг от друга в этом вопросе различные политические силы и лидеры и что их роднит. Тогда в обществе начнет развиваться институционально-правовое сознание, до сих пор в России, включая ее образованный класс, крайне неразвитое. Но в отличие от тех же перестроечных времен в ней появились, как я уже говорил, и люди, значение институционально-правовых проектов осознавшие. В частности, тех, что касаются конституционной реформы.

Однако от политиков таких проектов не поступает. Если судить, скажем, по Координационному совету оппозиции, предпочтение отдается другим направлениям публичной деятельности. То же самое наблюдается и в оппозиционных партиях. И может получиться так, что в очередную эпоху перемен общество войдет в том же состоянии, в каком входило в такие эпохи раньше. Когда много критического морального пафоса, когда томление по «норме» и другим абстракциям Должного. И когда все надежды на одного-единственного, кто это все обеспечит.

– Перемены реальны?

– Сегодня или завтра нет. Но я исхожу из того, что «государство-рынок» пошло к той черте, когда его неспособность обеспечивать социальный порядок и инициировать развитие становится очевидным и для руководителей этого «государства». Проблематичными начинают выглядеть и перспективы его самосохранения. Поэтому преследуются и устрашаются те, кто публично против него и его действий протестует. Поэтому ищутся «духовные скрепы», которые могли бы консолидировать вокруг этого «государства» население. И главной такой «скрепой» выбран государственный патриотизм, апеллирующий к образам «госдеповских» и прочих врагов и военным победам России. Но это есть не что иное, как апелляция «государства-рынка» к образу «государства-армии» при отсутствии присущего последнему мобилизационного ресурса. Или, говоря иначе, к инерции милитаристского сознания. Помните, как Путин на предвыборном митинге читал лермонтовское «Бородино»?

Но руководители «государства-рынка» понимают, похоже, и другое. Они понимают, что «государству» этому угрожают прежде всего отпущенные на свободу частные и групповые интересы государевых слуг. Или, что то же самое, угрожает оно само. Поэтому предпринимаются антикоррупционные и прочие меры, именуемые в окол Кремлевских кругах «национализацией элиты». Как это делается? Да так же, как и всегда: одной из силовых структур – в данном случае Следственному комитету – до определенных пределов развязываются

руки в борьбе с чиновничьими злоупотреблениями...

– Недавний ваш тезис об опричниках...

– Сегодня я о них вроде не говорил. Но коль уж речь о них, то опричники ведь отличались тем, что и о собственных интересах не забывали. Следовательно тоже пребывают внутри «государства-рынка». И как и любой рынок, этот тоже функционирует по собственным законам, а потому и субъекты, могущие противостоять его стихии, в нем появиться не могут. И на возрастание рисков у него есть свой, рыночный, ответ: на такое возрастание он реагирует ростом цен на услуги.

Так что впереди у «государства-рынка», скорее всего, большие проблемы, ему вряд ли удастся выскочить из собственной кожи. Рано или поздно выяснится, что патриотические «духовные скрепы», утверждаемые не только посредством государственной и церковной риторики, но и с помощью законов военного положения, не столько скрепляют, сколько разъединяют. Что не столько способствуют развитию, сколько становятся дополнительным блокиратором на его пути. Поэтому может прийти и эпоха перемен. Однако главное не в том, когда она придет и как проявится, а опять-таки в том, в каком состоянии окажется к тому времени российское общество. Проявит ли оно субъектность, необходимую для отстаивания системной правовой альтернативы «государству-рынку» и его милитаристским отечественным предшественникам, – вот в чем вопрос. Это зависит, конечно, не только от того, будет ли оно заранее готовиться к этому институционально-правовыми проектами политиков и интеллектуалов. Но и от этого тоже.

– А сейчас такой субъектности нет?

– Сейчас нет.

– Спасибо. Можно сказать, концовка-интрига.

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ИСТОРИЯ НАРОДА НЕ ТОЖДЕСТВЕННЫ

– Игорь Моисеевич, скоро выйдет из печати «История России», в написании которой вы принимали участие. В чем особенность этого труда? Ведь дефицита подобных изданий на нашем книжном рынке не наблюдается¹.

– Книгу мы написали втроем, моими соавторами были культурологи Александр Ахиезер и Игорь Яковенко. Мы исходили из очевидного, лежащего на поверхности факта: история страны представляет собой чередование победных взлетов и катастрофических обвалов государственности. И задались простым вопросом о том, что ждет Россию впереди: очередной взлет или очередной обвал – на этот раз без предшествующего ему взлета.

Разумеется, история не содержит в себе ответов на подобные вопросы. Но она позволяет глубже понять своеобразие переживаемой ситуации и одновременно преемственную связь с тем, что уже неоднократно происходило. Прежние достижения и прежние катастрофы имели свои причины, причем в том и другом случае они были одними и теми же. Мы попытались вычленить проблемы, которые связывают современную Россию с ее прошлым, и проследить, какими методами и с какими краткосрочными и долгосрочными результатами они решались.

Мы, говоря иначе, попробовали поставить нынешнего президента Владимира Путина в длинный исторический ряд правителей, начиная с киевского князя Олега, и посмотреть, чем стоящие перед ним исторические задачи схожи и чем отличаются от тех, которые в разное время стояли перед его предшественниками. Можно ли воспользоваться сегодня теми способами, которые когда-то были успешными? Если да, то какими именно? А если нет, то что из этого следует?

Кстати, наша книга называется не совсем так, как вы сказали. Она называется: «История России: конец или новое начало?»

– Судя по составу авторов, в ней доминирует культурологический подход?

– Он присутствует, но я бы не сказал, что он преобладает. Понятно, что без учета культурных особенностей народа его историю объяснить невозможно. Без их учета останется неясным, почему, например, представители крестьян

1 Вопросы задавал *Сергей Шаповал*. Опубликовано в журнале «Политический класс» в 2005 году (№ 7).

столь последовательно и целеустремленно выступали против столыпинских реформ в Государственной думе. Или, скажем, почему Россия оказалась родиной Советов как новых органов государственной власти. Поэтому в толковании этих и многих других явлений культурологический подход нами широко используется. Но мы отдавали себе ясный отчет и в его ограниченности.

Вряд ли кому-нибудь удастся чисто культурологически объяснить такое событие, как сталинская коллективизация. То же относится к принудительному выкорчевыванию ростков фермерского уклада в деревне. С середины XVIII века государственным крестьянам власти стали навязывать уравнительные переделы земли по примеру помещичьих хозяйств, что вызывало протесты со стороны наиболее деятельных и энергичных земледельцев. Поэтому основной ракурс, в котором мы рассматриваем и историю, и современность, я бы сформулировал так: особенности взаимоотношений политической власти, элиты и населения в России.

Государство российское строилось и укреплялось властью и привластными элитными группами без участия народа. В Киевской Руси, правда, дело обстояло не так, но она, во-первых, была устроена принципиально иначе, чем Русь Московская, а во-вторых, еще задолго до монгольского нашествия начала распадаться. Московская же государственность создавалась под патронажем монголов и под влиянием их политического опыта московскими князьями и боярами не только без участия народа, но в определенном смысле и вопреки ему.

Давайте вспомним некоторые факты, которые никто и никогда не отрицал, но которые ни в одну из идеологических схем, используемых при описании отечественной истории, не вписываются. Давайте вспомним, что Иван Данилович Калита получил от монголов ярлык на великое княжение после того, как вместе с ними принял участие в подавлении антитатарского восстания в Твери. И если мы говорим не только об истории государства, но и об истории народа, то пора, быть может, отдать должное не только Калите, но и тверскому князю Александру, присоединившемуся к восставшим?

Или возьмем такую фигуру, как Александр Невский, который не раз подавлял вместе с татарами направленные против них выступления, а во время масштабного антитатарского народного восстания, охватившего сразу несколько городов, уехал в Орду за поддержкой. Можем ли мы к этой фигуре относиться так же, как относились к ней на протяжении многих столетий?

– Так что же, всю историю надо теперь переписывать? Не опасен ли такой пересмотр для нашего исторического сознания?

– Ответ на этот вопрос зависит от того, к чему мы сегодня стремимся. Если мы хотим, чтобы история страны оставалась историей власти и элиты, а народ и впредь пребывал в состоянии объекта, наделенного лишь правом голосовать за тех, за кого власть и элита ему предпишут, то ничего в нашем прошлом

переоценивать не надо. Если же мы считаем, что для блага России было бы полезнее, чтобы народ из объекта управления и манипуляции превратился в полноправного субъекта, то кое-что придется пересмотреть и в отечественной истории.

Речь идет не о том, чтобы пересматривать всё и вся. Речь о том, чтобы уйти от отождествления истории народа и истории государства, чтобы увидеть в их взаимоотношениях многовековую драму, которая и была главной причиной почти всех наших государственных катастроф. Нынешнее же наше историческое сознание свидетельствует о том, что эта драма все еще не изжита. А значит, страна не гарантирована и от новых катастроф.

Опасна не ревизия исторического сознания. Опасно его отставание от вызовов времени.

Приведу пример из другой сферы. По давней традиции мы ведем отсчет отечественной государственности от Киевской Руси. Но то же самое делает и ставшая независимой Украина, у которой для этого уж во всяком случае не меньше оснований. А главное, у нее нет здесь никаких проблем, между тем как у России они есть, но мы предпочитаем их не замечать. Я не исключаю, что школьники скоро будут спрашивать у учителей: надо ли написанное в учебнике понимать так, что история России начиналась в другом государстве?

В составе Киевского государства был фактически автономный от Киева Новгород. В это государство входило и Владимиро-Суздальское княжество – тоже от киевского центра независимое. И московские князья, кстати, получали от монголов ярлыки на власть во Владимире – он был центром, а не Москва. Я не готов сейчас говорить о том, с чего нам отсчитывать историю страны. Не писали мы об этом и в книге. Но в ней напоминается о том, что Новгородская республика и Владимиро-Суздальское княжество воплощали принципиально разные политические модели. История первой – это история государственного творчества народа. История второго – это история политической деятельности князей, начавших строить авторитарную государственность задолго до монголов. Именно во Владимире имела место первая попытка установить самодержавное правление – я имею в виду Андрея Боголюбского.

– Вы последовательно проводите мысль о том, что история народа и государства – не одно и то же. Насколько актуально такое противопоставление в условиях, когда новое Российское государство еще не упрочилось?

– Оно и не упрочится, если будет строиться как государство власти и элиты. Оно не упрочится, если русский народ, воспользуясь известной констатацией Николая Бердяева, будет оставаться самым безгосударственным народом в мире. Или, как говорили славянофилы, народом неполитическим. Стал же он таким потому, что от государства был отключен. Не забудем, что массовые городские школы появились в России только в конце XVIII века, а сельские – во

второй половине XIX. Не забудем, что жизнь российской деревни государственным законодательством не регулировалась, что и в начале XX века крестьяне руководствовались преимущественно нормами обычного права. Только при таком состоянии народа большевики могли прийти к власти с идеей отмирания государства. Этим же объясняется, почему Россия стала родиной не только большевизма, но и революционного анархизма. Государственное начало обнаруживалось у русского народа разве что в войнах, да и то не всегда. Вспомним Первую мировую. Вспомним восстание Пугачева, вспыхнувшее во время войны с Турцией.

– Сейчас о формировании исторического сознания говорят идеологи и политики самых разных направлений. Но доминирующий пафос при этом совсем не такой, как у вас. Он направлен против национальных комплексов и национального самоуничижения. Хватит, мол, бить себя в грудь и вздыхать о том, что в истории страны был Иван Грозный, который резал и живьем поджаривал людей. А в Европе в то время что – не резали? Мы такая же страна, как другие, ничем не хуже...

– Что касается зверств, то это правильно. Россия, если отвлечься от сталинского периода, в данном отношении мало чем отличалась от европейских государств. Но отсюда еще не следует, что она от них не отличалась вообще, причем принципиально. И закрывать на это глаза – значит не прояснять, а еще больше затуманивать и без того затуманенное историческое сознание.

В стране изначально складывался иной, чем в Европе, тип отношений между властью, элитой и населением. Они были другими уже в киевский период, и мы в нашей книге эти отличия пытались обозначить. Что касается послемонгольской Московии, то складывавшееся в ней самодержавие лишь внешне напоминало европейские абсолютистские режимы.

В Европе собственность была отделена от власти, абсолютные монархи, какими бы политически всесильными они ни были, покушаться на права собственников позволить себе не могли, равно как и требовать в обмен на это право какие-либо услуги. В Московии же с самого начала утверждался порядок, при котором владельцем земли является государь, а бояре и дворяне за пользование ею обязаны служить государству – прежде всего на военном поприще. Естественным дополнением такого порядка стало со временем крепостное право – власть расплачивалась со служилыми людьми не только землей, но и даровым крестьянским трудом. Если и искать аналоги этого государственного устройства, то не в Европе, а в Османской империи, к опыту которой, кстати, московские правители и их идеологи очень внимательно присматривались.

Нынешняя мода представлять Россию как «нормальную» европейскую страну – это не альтернатива старой идеологии «особого пути». Это – проявление ее глубокого кризиса, выход из которого пытаются найти в том, чтобы закамуф-

лирывать особость под всеобщность. И речь идет не только об истории. Речь идет и о том, чтобы представить нашу современную имитационную «суверенную» демократию как вполне соответствующую европейским образцам. При таком подходе появляется и соответствующий взгляд на прошлое, угол зрения на которое всегда задается современностью. Но я не думаю, что такой подход плодотворный.

– Вы настаиваете на российской особости? Так в чем же она, если даже самодержавная власть у нас возникла под турецким влиянием?

– Влияний было много – не только турецкое, но и византийское, не говоря уже о монгольском. Мы их в книге подробно рассматриваем. На их пересечении и возникла отечественная особость. Она позволила России провести две уникальные военно-технологические модернизации – при Петре I и Сталине. Аналогов им в мировой истории не было. Особость же, которая позволила это сделать, заключалась в милитаризации жизненного уклада населения.

Мы выделяем в истории России два милитаризаторских цикла. Первый начался после освобождения от монголов и завершился при Петре I. Под милитаризацией в данном случае имеется в виду не просто военная ориентация экономики, но выстраивание повседневности по армейско-мобилизационному образцу. Благодаря этому Петр и смог осуществить модернизацию. В той же Турции, где милитаризация не была столь глубокой, своего Петра не появилось, и некогда всеильная Османская империя начала позиции сдавать. Но и наш преобразователь довел процесс до такой точки, после которой продолжать его дальше было невозможно. Этим не в последнюю очередь объясняется то, что русская элита XVIII века предпочитала видеть на престоле женщин. Они и начали вводить страну в цикл демилитаризации, продолжавшейся, хотя и не без попятных движений, почти два столетия, вплоть до 1917 года.

За это время Россия далеко продвинулась по пути европеизации, дойдя по нему до ограничения самодержавия избираемым населением институтом парламентского представительства. Но тут-то и выяснилось, что за многовековое отстранение народа от государственной жизни власти и элите предстоит заплатить непомерно высокую цену. Выяснилось, что в стране, исповедовавшей идеологию соборности, отсутствует само понятие об общем интересе. Поэтому и возникла ситуация, когда не только «низы», но и «верхи» отвергли реформаторские проекты Столыпина, не будучи в состоянии противопоставить им проекты альтернативные. Из таких ситуаций существует только два выхода – или в войну, или в революцию. Россия втянулась в войну, которая, однако, революцию не предотвратила.

При Сталине страна вошла во второй милитаристский цикл, позволивший осуществить очередную военно-технологическую модернизацию. А после смерти вождя сразу же началась новая демилитаризация. Но советская государственность оказалась совместимой с ней еще меньше, чем досоветская, не

продержавшись и четырех десятилетий. И встает вопрос: что же дальше?

– Ваш экскурс в историю приблизил вас к ответу?

– Он убедил нас в том, что в отечественной истории ответа нет. Я не могу представить себе сегодня технологическую модернизацию по петровскому или сталинскому милитаристскому образцу, предполагающему превращение страны в «осажденную крепость». Я не могу себе представить и модернизацию по сценарию Сергея Витте, которая осуществлялась исключительно государством. В современных условиях, когда технологии быстро и непредсказуемо меняются, это невозможно. Тем более если речь идет о современном Российском государстве, опасаящемся инвестировать накопленные им огромные деньги из-за резонных опасений, что они будут разворованы.

Выход, мне кажется, только один: реформирование самого государства, превращение его в либерально-правовое. В нашей истории есть для этого точка опоры. Наиболее важные среди них – указ Петра III о вольности дворянства, предоставление этому сословию дополнительных прав, включая право собственности на землю, Екатериной II, реформы Александра II, Октябрьский манифест 1905 года и созыв Государственной думы при Николае II. Завершить строительство правовой государственности им не удалось. Но они двигались в этом направлении.

– Это логичное рассуждение, но история свидетельствует и о том, что судьба русского либерализма печальна.

– Важно то, что такая тенденция была. Да, она до сих пор всегда прерывалась авторитарными подмораживаниями. Но знаете, что внушает некоторый оптимизм? То, что после таких подмораживаний она обнаруживала себя снова, причем всегда оказывалась более глубокой, чем раньше.

– Но почему нет ни одного успеха? Были тенденции, но традиция не сложилась.

– В общем виде я уже об этом говорил. Потому что народ отстранялся от государства. Потому что искусственно удерживался вне понятий о праве.

Напомню интересный факт. Большевистский Декрет о земле включал в себя текст, в котором были представлены крестьянские наказания партии эсеров. Фактически это была эсеровская программа, которую большевики заимствовали. И первый пункт наказов гласил: «Частная собственность на землю отменяется навсегда».

Почему крестьяне выдвигали такие требования? Потому что государство несколько столетий принуждало их к уравнительному землепользованию. Потребовалось семь с лишним десятилетий жизни без частной собственности, чтобы люди перестали так думать.

А теперь государство примером собственной деятельности приучает людей

к правовому нигилизму. А его представители и идеологи ссылаются при этом на народ, который до законности и демократии «не дорос». В каком-то смысле это правда: он не дорос до того, чтобы потребовать от власти жить по закону. Но говорить, что он ей мешает, может позволять себе только морально разложившаяся элита.

– Ведущие европейские медиевисты утверждают, что к XIII веку сформировался современный западный человек, поэтому модель Средних веков способна помочь понять, что происходит в наши дни. Мы можем зафиксировать эпоху, когда созрел современный российский человек?

– Об этом трудно говорить, потому что как исторический тип он не сформировался. В том же XIII веке Русь попала под власть монголов, которые за два с лишним столетия оказали сильнейшее влияние и на русскую власть, и на население. Рискну утверждать, что следы этого влияния можно обнаружить и сегодня. Они проявляются и в бесцеремонности властвующей элиты, и в остаточном страхе населения перед властью.

– Судя по вашему отношению к нынешней элите, единственный путь к либеральной модернизации – революция?

– Революция в наших условиях вовсе не обязательно расчистит дорогу для такой модернизации уже потому, что на либеральном фланге нет лидеров, способных ее возглавить. Я знаю только, что страна нуждается в личности, соизмеримой по политическому масштабу с масштабом стоящих перед страной задач. Погружение в историю убедило меня в том, что по сложности и новизне они беспрецедентны.

– Такой личности не видно. К тому же дает о себе знать давняя традиция сакрализации власти. Вот показательный эпизод. После выборов 1996 года он прошел по телевидению. Бабушку спрашивают: «За кого вы голосовали?» – «За Ельцина». – «А как живете?» – «В деревне света нет, пенсию не платят». – «А почему же за Ельцина, а не за Зюганова, он о народе печется?» – «Вот когда Зюганов станет президентом, тогда и будем за него голосовать». Власть воспринимается кем-то поставленной...

– Дело, мне кажется, не в сакрализации. Традиция такая действительно есть, и мы в нашей книге подробно рассказываем о том, как и в каких формах она на разных исторических этапах проявлялась. Но эта традиция уходящая. Сакрализация лидера исключает его публичную критику. Между тем сегодня в российском обществе, по данным социологических опросов, не больше 20 процентов людей, которые считают, что критика президента должна быть запрещена.

То, о чем вы говорите, несколько другое. Люди в любой стране голосуют лишь за тех лидеров, относительно которых уверены, что они способны управ-

лять государством. В странах развитой демократии, где кандидаты выдвигаются влиятельными и авторитетными партиями, у избирателей в данном отношении никаких сомнений и опасений не возникает. В России – другое дело. У нас в основном голосуют или за тех, кто находится у власти, или за тех, кто представляет бывшую правящую силу. Поэтому бабушки, и не только они, разделились в 1996 году на избирателей Ельцина и Зюганова, ассоциировавшегося с КПСС. То же самое повторилось в 2000 году – с той лишь разницей, что место Ельцина занял возглавлявший правительство Путин. А еще через четыре года, когда образ КПСС как бывшей партии власти совсем потускнел, действующий президент просто оказался без конкурентов.

Я не склонен преуменьшать значение политтехнологий, административных, информационных и финансовых ресурсов. Но есть вещи и более фундаментальные. Почему не может у нас победить политик либерального толка, даже если он не занимал в 90-е годы государственных постов и находился в оппозиции? Не потому, что у людей нет запроса на свободу и они хотят возвращения государственного диктата, а потому, что боятся хаоса. Они не уверены, что такой политик сможет соединить свободу с порядком. Напомню, кстати, что Путин шел на второй срок с либеральной предвыборной платформой.

Это достаточно комфортная для власти и околоставных элит ситуация. Тем не менее в их поведении все больше чувствуется нервозность. И дело, думаю, не только в страхе перед «оранжевой» или какой-то другой революцией. Скорее всего, после «дела ЮКОСа» и вызванного им спада деловой активности в Кремле не знают, что делать. Государство, поставившее себя над обществом и избирательно применяющее юридические нормы, в современных условиях не в состоянии стимулировать развитие этого общества и вообще решать какие-либо крупные проблемы. Такое государство становится стратегически бесплодным.

– Но ведь теперь оно вроде бы опирается на народ и его волеизъявление, а не отключает его от себя.

– Во-первых, оно опирается на его слабые стороны. Во-вторых, подключение народа к государству означает свободу политической конкуренции. В-третьих, власть, идя на выборы, не сообщает населению, что намерена делать в случае победы на них. Достаточно вспомнить предвыборные платформы Путина или «Единой России».

– Какой сценарий развития страны в ближайшие годы, по-вашему, наиболее вероятен?

– Если не произойдет ничего чрезвычайного – резкого падения нефтяных цен или какой-нибудь катастрофы на Кавказе, – Путин останется в Кремле до 2008 года. Инициативной политики я от него не жду – все пойдет примерно так же, как до сих пор. Во всяком случае, продвижения к правовому типу государ-

ственности не будет точно. А без этого что бы ни делалось, серьезного эффекта не будет. Учитывая предстоящую предвыборную суету, ближайшие два с половиной года страна потеряет.

– Как, по вашему мнению, разрешится ситуация в 2008 году?

– Склоняюсь к тому, что Путин уйдет. Новым президентом станет, скорее всего, кремлевский кандидат. Опять же при условии, если к тому времени не случится потрясений, которые могут вызвать резкий сдвиг в общественных настроениях. Кто будет кремлевским кандидатом, не знаю. Полагаю, что этого еще не знают и в Кремле.

– Логично завершить беседу вашим видением будущего в долгосрочной перспективе.

– Пока сохраняется шанс, что Россия станет правовым государством европейского типа. Шанс не очень большой, потому что это предполагает глубокое реформирование нашей государственной системы. Альтернатива же такому сценарию – отпадение зауральских территорий, республик Поволжья и Северного Кавказа, который и при первом сценарии удержать непросто.

Россия сегодня цивилизационно несостоятельна. Вопреки мнению наших почвенников, самодостаточной цивилизацией она никогда не была и раньше. Но в прошлом она выдвигала самобытные проекты, хотя ни один из них стратегической жизнеспособности не обнаружил. В нашей книге мы все их попытались детально рассмотреть и проанализировать причины их нереализуемости. Но сегодня у России нет даже цивилизационного проекта. Потому что все возможности самобытного проектирования она исчерпала, а освоить европейские правовые стандарты оказывается не в состоянии.

– И какой из этих сценариев, по-вашему, более вероятен?

– Мне кажется, повторю еще раз, что на оптимистический сценарий шансов мало, но надо все же попробовать его реализовать. Хотя кто это будет делать, не знаю. Но я знаю, что история России – это история откладывания решений назревших задач до тех пор, пока не грянет гром.

Клямкин Игорь Моисеевич

**БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНОЕ ПРОШЛОЕ
И АЛЬТЕРНАТИВНОЕ НАСТОЯЩЕЕ**

Ответственный за выпуск – Михаил Ледовский

Дизайн и верстка – Мария Ратинова

Корректор – Елена Абоева

Подписано в печать 20.04.2013

Тираж 800 экз.